Ольга Дунаевская

Образок

Повесть. Рассказы

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Название повести «Образок» в книге Ольги Дунаевской символично: образ детства, родных людей, мест, всего любимого и ушедшего, но сохранившегося в душе навсегда. Самым близким человеком для героини становится бабушка, уход которой из жизни рушит и без того хрупкий Олин мир. Искренности этой мемуарной повести добавляют фрагменты воспоминаний, записанные едва научившейся писать девочкой под диктовку бабушки. Рассказы, грустные и смешные, продолжают жизнь героини во времени. Они о самом главном – об отношениях с теми, кого мы любим. Книга предназначена для семейного чтения.

- Ольга Дунаевская
  - Образок
    - Больница
    -
    - Васька, Надька и другие
    -
    - Танец на столе
    - Побег
    - Улыбка негра
    - Красное пальто
    - Царские палаты и их обитатели
    - Дары Востока
    - Бабушка Саня
    -
    - В деревне
    - Кое-что о школе
    -
    - Летом в Детской
    - «Наполеон»
    - В колонии для беспризорников, или Еще из воспоминаний бабушки Сани
    - Потери
    - «Я иду по Кабардинке…»
    - Туся
    - Танина любовь
    - Образок
    - Ульяна Сергеевна
    - Ульянины сказки
    -

        - Гадания
        - Без названия
    - В рамке солнечного света
    - Судьба, судьбою, о судьбе…
    - Истории об Арсюше
        - История первая. Про грибного ежа
        -
        - История вторая. Про озеро́
        - История третья. Про зоопарк
        - Стихи
        - Школа
    - Весенний снег
    -
    - Ронька
    - Прогулка на параплане
    - За что любят мужчины
    - Виргинский диптих
        - Крик африканского орлана
        -
        - Миллион на подарки
        -

Ольга Дунаевская
Образок

Образок

Больница

Мне иногда очень хочется сесть за стол и написать книжку, только пока я не знаю, о чем она будет. Я гляжу по сторонам и ничего особенного не замечаю. Вернее, замечаю, но не умею сказать об этом так, чтобы и другим это показалось тоже чем-то особенным. И тогда я делаю вот что.

Я сажусь поудобнее, плотно закрываю глаза и даже стараюсь немножко закатить их под лоб. Делаю я так неспроста: мне надо увидеть все, что находится не передо мной, а внутри, и все, что осталось позади меня.

Сначала, конечно, ничего, кроме темноты, я не вижу. А так как темноты я побаиваюсь, то и вспоминается мне все что-то страшноватое. К примеру, больница.

В больницах я в детстве лежала трижды. Трижды, если не считать кое-каких осложнений, возникших при моем рождении: из-за них нас с мамой задержали в роддоме дольше положенного.

Когда мама была уже сильно беременна, папа решил покатать ее на лодке. Почему-то лодка перевернулась только на середине озера, а не тогда, когда беременная мама в нее садилась. Мама плавает хорошо, так что до берега добрались нормально. Почти сразу же у мамы начались схватки и папа только-только успел довезти ее до родильного дома. Это было в начале осени, и рождаться мне было еще не пора. К счастью, ничего страшного не случилось, но и даром для меня эта прогулка не прошла. Когда наступило нужное время и папа снова отвез маму в родильный дом, родить мама почему-то никак не могла. Хотя было очень больно и она была уверена, что я уже рождаюсь, ничего у нас не получалось. Акушерка говорила:

– Да ты подуйся, может, и выскочит…

Мама дулась изо всех сил, но никто не выскакивал. Тогда акушерка залезла к маме в живот и нащупала мою голову, потом шею. Оказалось, что вокруг шеи обмоталась пуповина. Акушерка эта, Галя, была очень опытная. Мама училась с ней в одном классе. Она же принимала у мамы Витю, моего старшего брата. Тогда мама родила на вечере встречи их класса. Стала танцевать, а Витя решил родиться.

И опять у Гали с нашей семьей были проблемы. Галя осторожно оттянула пуповину от горла и высвободила мне голову. Все пошло как по маслу, и я быстренько родилась, правда, уже задушенная и с хвостом.

Хвост, видимо, мало взволновал Галю, ей надо было меня оживить. Я молча лежала у нее на руках, совершенно синяя. Она

трясла меня, шлепала, но я упорно молчала. Похоже, говорить мне было не о чем. Мама спросила ее:

– Кто?

Галя только огрызнулась:

– Да погоди ты…

И продолжала меня колотить, держа вниз головой за синие пятки. Наконец, я заорала и не могла уже остановиться очень долго. Маме потом нянечка сказала, что я хоть и синяя, но всех детей перекрикивала.

Когда маме принесли меня в первый раз, она испугалась. Густой синий цвет, в который я была выкрашена при рождении, сменился фиолетовым и стал постепенно сходить. Так что теперь окрас был пегий. Кроме того, мама обнаружила хвост: маленькую треугольную складочку, покрытую пухом и свисавшую пониже спины. Мама испугалась, а Галя, которая видала всякое, сказала маме, что надо радоваться. Мама стала радоваться, но нести меня такую домой побоялась. Так мы провалялись в роддоме полмесяца, после чего я приобрела нормальный цвет, хвост же бесследно исчез.

Самостоятельно я загремела в больницу на пятом году жизни. Из-за ангин. Я так часто болела ангиной, что могла просто не вылезать из постели. Стоило мне войти в комнату, где недавно открывали форточку – ангина начиналась безотлагательно.

Меня показывали многим врачам, но все они не могли решить, как поступать дальше. Одни говорили, что необходимо своевременно ликвидировать такие злостные наросты, как гланды и аденоиды. Ведь они, говорили эти врачи, только привлекают бактерий и мешают ребенку дышать. Другие возражали, что природа дала человеку гланды, и мы не вправе лишать организм таких естественных стражей. Ведь они, собирая попадающие в слизистую оболочку бактерии, способствуют появлению в организме защитных сил и, таким образом, спасают от более серьезных болезней. А один старичок-врач, лечивший еще моего папу, вспомнил, как папе вырезали гланды в тридцать лет и как папа заразился в больнице корью и от этого чуть не умер.

Но родители иначе истолковывали этот случай. Они решили, что мне все же стоит вырезать гланды, причем желательно сделать это до тридцати. По дороге в клинику мама повторяла, что мне будут давать мороженого, сколько захочу. Но я не любила мороженое. Возможно, потому, что мне никак не удавалось его толком попробовать из-за постоянных простуд. Так что я не особо утешилась и завела рев, как только осталась одна, без мамы в жесткой больничной пижаме. От рева у меня поднялась высокая температура, и операцию пришлось отложить. Но вот, наконец, я,

умытая, сижу в красивом металлическом кресле на шарнирах. Мне что-то закапывают в нос и велят открыть рот. Делают уколы. Я даже не замечаю, как в открытый мой рот врач залезает огромными кривыми ножницами. Я замечаю только, когда она их вынимает.

В ножницах зажата темно-красная сморщенная слива. Врач смеется, что-то говорит. Я плююсь кровью. Вскоре изо рта вылезает вторая такая же слива. Мне протягивают миску с нарезанными кусочками вафельного мороженого. Кормят с ложки. Голова моя от мороженого проясняется, и я слышу, как врач спрашивает, не хочу ли я еще раз увидеть или взять с собой, в бумажку, свои гланды. Мороженое застревает в моем искромсанном горле. Гланды я видеть и, тем более брать с собой, совсем не хочу.

После операции я совершенно перестала болеть ангиной, но начала скрежетать зубами во сне. Домработница Нюра боялась оставаться со мной на ночь в одной комнате. К тому же у меня начался возрастной лунатизм. Я стала заговаривать с ней по ночам, и Нюра обижалась, что я совсем не слушаю ее ответов. А однажды ночью я встала, но обратно легла не в свою постель, а в Нюрину. Вернее прямо на саму Нюру и стала перетягивать на себя ее одеяло. Нюра истошно закричала. Витя проснулся и снял меня с нее. Наутро родители очень смеялись. А Нюра обиделась и неделю со мной не разговаривала.

Зубами я продолжала скрежетать лет до одиннадцати, когда все прекратилось само собой и у меня началась жестокая болезнь печени. Врачи сразу определили, что это либо наследственное, либо от скрытой желтухи, которая была такая скрытая, что вовремя ее никто не заметил.

Васька, Надька и другие

Мой брат Витя никогда не умел танцевать индийские танцы, да еще женскую партию. А меня обучил. Теоретически. Объяснил, куда надо двигать шею, куда тянуть руки, какой частью тела когда вращать. Это умение двигаться как на шарнирах немало помогало мне в самых разных жизненных обстоятельствах. Например, когда я оказалась в больнице в третий раз. Теперь уже из-за печени.

Мой дед, папин папа, был архитектором. Он построил много разных больниц и родильных домов и написал огромную толстую книгу, которая называется «Строительство лечебных зданий». В Москве он проектировал большую клинику для детей где-то на Ломоносовском проспекте. Туда меня и положили на обследование.

Мой лечащий врач, женщина огромного роста с крошечным крашенным ротиком, верхняя губка которого была заячьей, писала диссертацию. Она работала в нервном отделении, и тема ее была о связи всех болезней с нервами. Мою печень тоже надо было как можно крепче привязать к нервам. Так я очутилась на шестом этаже огромного здания из розового кирпича. Здание строилось много лет назад на самой окраине, вдали от гвалта московских улиц. Но скоро клиника была окружена сцеплениями дорог, и перекресток этот стал одним из самых бойких в Москве. Почти в любом месте больницы был слышен неумолчный гул машин, скрежет автобусных тормозов на светофорах и позванивание трамваев.

Нервное предполагалось как самое тихое отделение – его окна выходили в квадратный колодезный двор, в центре которого был разбит газон, а все проемы и арки, ведущие на волю, замыкались высокими резными воротами.

Входом и выходом из клиники служила тяжеленная дверь в центре ветвистого здания. У двери, не доходя гардероба, сидел интеллигентного вида дяденька за пустым письменным столом. Чуть поодаль стояла женщина в ватнике цвета хаки. Ватник украшался погонами и военным ремнем со звездой. Наверное, подумала я, ночью она ходит с ружьем и собакой.

Мама захватила из дома пижаму, и я еще подумала тогда, как это хорошо – быть в домашнем белье, но потом оказалось, что, наоборот, плохо.

Узкими бесконечными лабиринтами нас повели к запасному лифту. Маму в отделение не пустили. Мы попрощались на лестничной клетке. Я так хотела, чтобы мама не смогла найти

обратной дороги в бомбоубежищах и вернулась бы ко мне, но белая больничная дверь захлопнулась, и мама не вернулась.

Еще в лифте меня подмывало разреветься из-за того, что отсюда так трудно выбраться. У меня появилось чувство, что на шестом этаже меня заживо замуруют. Когда легко убежать, то бежать как-то не хочется, все кажется, что терпеть еще можно. Из этой больницы убежать было почти немыслимо.

В палате я очутилась сразу: она была ближайшей к двери. Я одна, рассовываю вещи по тумбочке. Дети на процедурах или еще где-то. В отделении тишина. Оглядываюсь. Палата большая, в ней четыре койки и круглый стол посередине. Моя кровать у коридорной стены. Высокие окна напротив сплошь затянуты мелкой металлической сеткой. Прямо над моей кроватью тоже есть маленькое оконце, в коридор. Наверное, чтобы сестры могли в любой момент видеть, что делается в палате.

Распихав свои шмотки, я собралась пройтись по отделению, как вдруг послышались громкие невнятные звуки. Человеческий голос, то ли детский, то ли женский протяжно выл, вскрикивал, как от внезапного укола, и тоскливо прерывисто мычал. Раздавшись где-то в другом конце коридора, голос стал приближаться. Мурашки побежали по телу, и я сжалась в надежде, что голос не дойдет до меня, свернет по дороге и исчезнет. Почему-то я представила себе молодого недобитого зверя. Где-то в его теле – пуля, и он тащится по лесу, оставляя на траве кровавый след.

– А-а-а… О-у-у-у… М-м-мм-а-а-а…

Дверь распахнулась. В палату, пошатываясь, вошел кудрявый мальчик лет двенадцати, в аккуратной зеленой пижамке. Тоже домашняя, успела еще подумать я, и это была моя последняя мысль. Продолжая выть и мычать, мальчик направился прямо на меня. Он делал какие-то движения вытянутыми вперед руками. Когда он подошел ближе, я увидела, что его запрокинутое верх лицо заплакано. Я вжалась вглубь постели. Тут в палату влетела толстая нянька и выволокла мальчика из палаты.

Я дрожала в страхе, что он снова войдет, и заикалась от рыданий. Продолжалось это довольно долго, пока меня не кликнули обедать. Есть я ничего не могла и никого за столом не разглядывала. Хорошо уже, что страшного мальчика там не было.

Когда я вернулась в палату на тихий час, она была полна. Забегу немножко вперед и опишу моих соседей. Вперед, потому что я не сразу узнала их имена, привычки и хвори.

Моей соседкой справа была восьмилетняя девочка Надька с синдромом дауна. Внешне она походила на всех даунов на свете. Язык не помещался за мелкими желтыми зубами, которых,

казалось, было по меньшей мере, шестьдесят четыре. Жидкие косички были аккуратно заплетены. Надька смотрела на мир маленькими и совершенно косыми карими глазками. По характеру она оказалась доброй, но очень склочной. Она вступала в любые ссоры и перебранки. Повышенный голос приманивал ее, и Надька активно начинала отстаивать никому не понятно что. Видимо, она не была безнадежной, врачи надеялись чем-нибудь помочь ей. Она лежала в больнице уже полгода и даже занималась с учителем.

Надька обычно сразу бывала в курсе событий, происходивших в огромной клинике. Вся переполненная новостью, она застигала меня за обедом, в туалете, в умывалке, во сне. Хватала за край одежды и тараторила, брызгая слюной, по возможности скоро поворачивая огромный язык.

– Слышала что, Ольк… – начинала она свое повествование. И дальше следовал сбивчивый рассказ, полный ненужных подробностей. От Надьки, например, я узнала, что у мальчика из почечного завелись вши и что теперь все почечные на карантине. Она же докладывала, чье сегодня дежурство, кого от нас и когда выписывают, а кого только что положили.

Наискосок от меня и прямо напротив Надьки располагался толстый белобрысый человек пяти лет. Его звали Васей, и он был стрижен, как и всякий другой мальчик, – с челочкой. Но эти сведения о нем оказались совсем не полными. Дело в том, что Вася был еще и девочкой. Он имел женские половые органы. Правда, только в какой-то части. Надька поведала мне, что Васю бросили родители и взял на воспитание дедушка. А дедушка – генерал.

Генерал-то и упросил врачей сделать Ваське операцию, чтобы он превратился в мальчика или, на худой конец, в девочку. Только бы окончательно. Надька предполагала, что из Васьки все же сделают девочку и назовут ее Ирочка. Будто бы она сама так слышала от процедурной медсестры. А пока Вася оставался Васей.

Операции ему при мне не сделали, но несколько раз его куда-то уводили. На какие-то анализы. Анализы эти были, наверное, мало приятные, потому что возвращали Ваську в палату на каталке. Он был покрыт простыней целиком, как покойник. Да и смахивал на мертвеца, когда его перекладывали на кровать. И тогда ему делали питательные капельницы.

В первую же ночь я, еле оправившись от ужаса, была разбужена шумной возней у кровати. Кто-то яростно хлопал дверцей тумбочки и шелестел бумагой. Я вскочила и, сонно вглядываясь в темноту, увидела Ваську. Он сидел на полу перед моей открытой тумбочкой. На Ваське была коротенькая нижняя

рубашонка. Она еле доставала ему до пояса, так что живот и ноги оставались голыми. Жирное его тело белело в темноте.

Васька, вперив в тумбочку маленькие прозрачные глазки, поглощал мою передачу. Вернее, не передачу, а то, что мама захватила с собой из дома. Он жадно опустошал один пакет за другим. Я молча стояла на кровати и завороженно следила за Васькой. Наконец, опомнившись, прошептала ему, чтобы он шел спать. Васька не отозвался. Я схватила его за руку и попыталась оттащить, но не смогла и с места сдвинуть: Васька был страшно тяжелый. Почуяв, что у него отнимают пищу, он разлегся на полу и стал сопротивляться всей массой своего двуполого тела. Все-таки сильно хотелось спать, и надо было что-то придумать.

Я выгребла из тумбочки съестные остатки и понесла к Ваське на постель. Он молча последовал за мной, шлепая по полу босыми жирными ластами. Остаток ночи прошел спокойно.

Наутро я рассказала Надьке, что видела. В ответ она ткнула мне на свою тумбочку: ее Надька с вечера поворачивала дверцей к стене.

Четвертой в нашей палате была маленькая худенькая девочка лет трех. У нее было что-то с почками. Мы с Надькой немножко играли в нее, как в куклу: наперебой помогали умываться, кормили. У Верочки Нечипаренко был предмет особой гордости – ее фамилия. Как-то Верочкин лечащий врач на обходе сказала, обернувшись к сестре с блокнотиком:

– Мочу по Нечипаренко, пожалуйста.

Я удивилась и толком не поняла, в чем дело. Но когда следующим утром процедурная сестра с порога крикнула Верочке:

– Нечипаренко, мочу по Нечипаренко! – все стало ясно.

Я рассказала Надьке, а потом и самой Верочке, каким богатством та обладала. Верочка сначала ничего не поняла. Посидела минутку, сдвинула белесые бровки. И залилась вдруг тоненьким всхлипывающим смехом. Я первое время с непривычки пугалась ее веселья: путала его с плачем. Когда Верочка смеялась, ее грустное личико искажалось, а жгутики-косички подрагивали, как будто сзади по ним кто-то легонько щелкал.

Танец на столе

Нервное отделение было невелико – двадцать восемь больных. Кроме нашей палаты, имелась палата на одного человека и остальные – на двоих. В соседней с нашей, двухместной, помещался тот самый мальчик, который так испугал меня в первый день. Его звали Павлик. Вместе с ним жил еще один мальчик, четырнадцатилетний Виталий.

Из всего детского населения в нервном Верочка и мы с Виталием были самыми «нормальными». Всех нас наблюдала огромная врачиха с заячьей губой, Виталия – по поводу щитовидки. Так как и эта болезнь происходила, возможно, от нервов, Виталий попал вместо отделения эндокринологии сюда. Приехал он из Торжка. Это был коренастый смуглый мальчик, ростом пониже меня. У него были черные волосы и небольшие карие глаза. Очень смышленые.

Мы обменивались с Виталием книжками. В полный восторг привела его «Легенда об Уленшпигеле». Он возвращал ее мне, брал снова, и так раза три. Виталий очень любил свою маму и гордился ею. Когда его выписали и мама приехала за ним, Виталик водил ее по палатам – всем показывал.

В «одиночке» жила девочка с редкой фамилией Попина. Попину звали Таней. У нее была какая-то странная болезнь, названия которой врачи тогда еще не придумали. Тане было четырнадцать лет, как и Виталию, но ростом она превосходила его раза в полтора. На лоснящемся Танином лице, заплывшем жиром, посверкивали черные глаза, один из которых, левый, сильно косил и походил на стеклянный. Вообще Танина левая сторона была хуже развита, чем правая. Она с трудом двигала левой рукой, загребала при ходьбе и волочила немного левую ногу. В остальном Таня казалась мне даже милой: маленький вздернутый нос, маленький рот.

Танина болезнь проявлялась в припадках, но чем-то отличалась от эпилепсии. Однажды Таня сидела на моей кровати и, болтая со мной, ела гранат. Дело было после обеда, в тихий час. Режим наш строгостью не отличался. Делай, что хочешь, только не лезь к нянечкам и медсестрам. Так вот, Таня ела гранат и болтала. Вдруг она замолчала на полуслове, гранат полетел на пол. Руки ее скрючила судорога. Глаза Тани закатились, рот так и остался открытым. Ее вырвало – и обедом, и половиной граната. Потом Таня тяжело сползла на пол, и ее снова вырвало. На этот раз просто желчью. Я пошла за нянечкой. Та глянула на всю картину и, ворча, что могли бы и сами за собой подтирать,

отправилась за тряпкой.

Поначалу Таня лежала в двухкоечной палате, но по настоянию лечащего врача ее перевели в одноместную. Лечил Таню самый молодой врач в отделении. Ему было всего двадцать шесть лет.

Однажды Таня явилась ко мне утром после обхода и зашептала:

– Оль, никому – ни слова… Сволочью будешь… Такое скажу…

Из всей сумятицы, которая пошла дальше, я поняла, что лечащий Танин врач, Сергей Александрович, заперся с ней в палате во время обхода. Он сказал, что теперь будет ее осматривать более подробно и велел Тане снять штаны. Когда она сняла штаны, Сергей Александрович попросил ее сесть на кровать и расставить ноги. Сам он сидел напротив. Теперь Танька была очень взволнована и, по-моему, не знала, как быть дальше. Меня она испугала.

Выхожу на следующий день вечером в коридор, Таня сидит на диване с одной из наших мамаш. (Во всех остальных двухкоечных палатах лежали мамы с грудными детьми. У младенцев были парализованы ножки. Тогда врачи еще не умели как следует делать пункцию спинного мозга и часто после нее бывали страшные осложнения. Все мы, глядя на этих беспомощных крох, жили в постоянном страхе перед этим анализом.

Иногда нам давали на ночь простоквашу из грудного молока: у некоторых мамаш был избыток, и нянечки квасили его в маленьких бутылочках со шкалой граммов. Простокваша эта оказалась очень вкусная).

Я подсела. Танька громким шепотом докладывала ей подробности последнего осмотра. Та слушала молча, положив подбородок на макушку ребенка, которого держала на коленях. Но когда Танька замолчала, возмутилась. Откинула младенца в угол дивана, вскочила. Танька стала говорить, что хочет от Сергея отвязаться, но не знает – как. Мамаша посоветовала:

– А ты скажи, что у тебя месячные. Не будешь раздеваться – и все тут…

Когда Танька ушла, мамаша предположила, что Таня может врать. Она попросила меня завтра во время осмотра проследить, когда Сергей Александрович войдет к Тане, а потом подергать дверь палаты.

На следующий день было точно установлено, что врач запирает за собой дверь.

Вечером мы поджидали Таню на диване. Она сказала, что когда отказалась снять штаны, Сергей Александрович удивленно протянул:

– Да что ты? А я думал, тебе приятно…

Мы продолжали сидеть на диване, а в другом конце коридора послышались те же крики, вой и мычание, которых я испугалась в первый день. Вскоре в полумраке показалась качающаяся фигурка Павлика.

Я не знаю, каково медицинское название Павликовой болезни – мы считали его полным идиотом. Он был повыше меня, и, наверное, чуть-чуть старше. Всегда в чистенькой пижаме (не то, что все мы), когда не плакал и не смеялся, Павлик мог показаться даже красивым. Нежная персиковая кожа, большие светло-зеленые глаза и густые волосы, завитые в жесткие колечки странного бронзового цвета. Ему только не шло радоваться и огорчаться. Делал он это совершенно одинаково. Как и трехлетняя Верочка из моей палаты. Когда Павлик вспоминал маму – он плакал, а когда его гладили – он смеялся. В обоих случаях лицо Павлика искажалось одинаковой гримасой, огромные прозрачные слезы выкатывались из покрасневших глаз, а из открытого рта бесконечной прозрачной ниткой тянулась слюна.

В первый же день Виталий, живший с ним в одной палате, объяснил мне, что Павлик никого не трогает, просто страшно воет и зовет маму: его тоже недавно положили. Павлик мог часами ковылять мимо своей палаты, туда-сюда, туда-сюда, если сам не попадал случайно в нее или некому было втолкнуть его в нужную дверь.

Я уж говорила – режим у нас был свободным. Не лезь ко взрослым – и тебя не тронут. Единственное с чем бывало строго – это с родительскими посещениями. Официальных приемных дней не полагалось вовсе. Зато передачи принимались любые и неограниченно.

Первым ко мне пришел брат.

Перед обедом какая-то нянечка вызвала меня из палаты и велела идти на лестницу, к лифту. Я вышла из отделения и увидела Витю. У него был белый халат дома, Витя надел его и сделал такой вид, будто работает в клинике. Витя у нас очень красивый, не то, что я. Он похож и на маму и на папу разом. А я не похожа ни на кого, и не могу сказать, чтобы я сильно от этого выиграла. Только зубы у меня, как у баб-Сани, маминой мамы: желтые и крепкие. Когда мне делали разные анализы, при которых приходилось заглатывать резиновый зонд, сестры вечно боялись, что я его нечаянно перегрызу.

Витя с нами никогда не целовался: говорил, что это его расслабляет. Так что мы просто поздоровались и уселись в кресла, стоявшие на площадке. Витя вынул из портфеля зеленую

книжку и сказал, что это книжка о птицах. Очень интересная, сейчас почитаем. И стал мне ее читать.

Книга была старая. На пожелтелых страницах можно было увидеть птичьи семейства. На подробных гравюрах просматривалось все до последнего перышка. Витя всякий раз показывал мне картинки. Однако вскоре рыдания стали подступать к моему горлу.

Мне хотелось плакать, во-первых, потому что Витя никогда не читал мне книжек вслух дома. А здесь читает. Значит, ему меня жалко. А когда меня кто-то жалеет, я всегда плачу. Во-вторых, я думала, что сейчас Витя прочтет мне еще несколько страниц и уйдет домой.

Дома – и это в-третьих – мама, папа, интересные книги, чистая теплая постель. Там нет ни парализованных младенцев, ни Сергея Александровича с его «осмотрами», ни страшного Павлика, ни двуполого Васьки. С одной стороны, мне не хотелось отпускать Витю, а с другой – он лишний раз напоминал мне об иной, небольничной жизни.

Витя сказал, что меня ждут целых пять книжек Киплинга и куча сказок. Их Витя мне дарит. Сказки и Киплинг – это, конечно, здорово. Потому что чаще Витя приносил что-нибудь вроде этих нагоняющих тоску птиц. Он любил объяснять мне трудные задачки по математике, которые только что решил сам. А ведь Витя уже студент. Он говорил, что дети могут понять все и все должно быть им интересно. Я не была с ним согласна: многое из того, что он просил меня прочесть или послушать, казалось мне скучным. Но я слушала и читала из любви к нему, больше всего на свете боясь Витю обидеть. В девять лет я таким путем изучила «Илиаду» и «Одиссею», а также обширную документальную литературу по путешествиям. Возможно, позже эти книги доставили бы мне куда больше удовольствия. Но сказки и Киплинг – это, конечно, здорово.

Я все-таки разревелась и сама попросила Витю идти.

Через пару дней в этом же белом халате пришла мама. Домашнее белье я ей вернула. Тоже лишнее напоминание о доме. Уж лучше в казенном.

Маленькая Верочка заметила, как я выскочила на лестницу. Она просунула светлую головку в дверь, увидела мою маму и растерянно уставилась на нас.

Когда я вернулась в палату, Верочка плакала, накрывшись с головой одеялом. Ее родители жили где-то на Севере, под Архангельском. Но даже если и в Москве, все равно, конечно, ей было обидно. И тогда я сказала Верочке, что если она перестанет плакать, вечером я для всех буду танцевать индийский танец.

Верочка не знала, что это такое и заинтересовалась. Она высунула покрасневшее личико наружу, повздрагивала немного под зеленым байковым одеялом и успокоилась.

После ужина наша палата наполнилась до отказа. Кроме нас четверых были приглашены: Виталик, Таня Попина, две мамаши, а также известная на всю клинику пьяница и курилка – нянечка тетя Сима.

Пора было начинать, но я все суетилась и никак не могла влезть на «сцену» от волнения. Пока я металась из угла в угол, тетя Сима зычным и хриплым голосом рассказывала мамашам, как недавно она выпивала с каким-то «собачьим хреном» в леске, недалеко от своего дома. Ну, выпили, занюхали – все путем. А тут хрен-то и говорит, что ему, мол, одной выпивки мало. Ему еще, мол, кой-чего подавай. Но тетя Сима, не будь дурой, ему спокойно так:

– Ну что ж, – говорит, – давай. Я не против. Только потом чтоб яйца не крутить – венерическая я.

И тетя Сима захлебнулась своим чахоточным смехом. Про яйца и про хрен это у нее такие были приговорки. Тетя Сима долго не могла остановиться, фыркала, кашляла и вытирала слезы. Потом вдруг подобралась вся на стуле и строго приказала:

– Ольга, ты яйца не крути, начинай.

Я обреченно полезла на стол. В палате стояла полная тишина. Преодолев первую несмазанность суставов, я быстро задвигала шеей, потом животом, потом бедрами – вправо, влево, вперед, назад. И по кругу. И снова по сторонам. Руки перед собой, к шее, чтобы голова «отрывалась». Быстрее, быстрее. Кто-то стал отхлопывать такт. Наверное, тетя Сима – она шум любит. Совсем, совсем не страшно.

В груди стало что-то присвистывать и булькать. Значит, надо закругляться. Натянуто улыбаясь, я опустилась на корточки и как можно грациознее скрестила руки на голове. Это был эффектный финал. Нечто среднее между умирающим лебедем-непрофессионалом и закрывшимся на ночь лотосом – с открыток, которые дарят моей маме вьетнамские студенты на Новый год.

Партер неистовствовал. Тетя Сима удивленно вскрикивала:

– Ну, хрен собачий… Ну, Ольга… Дала-а-а… Тебя, прям, хоть куда… Хоть сейчас…

Мамаши чинно и негромко аплодировали. Надька сидела на кровати, блаженно улыбаясь. Но больше всех я угодила Верочке. Она весь вечер не отходила от меня ни на шаг, даже отказалась идти спать, пока я не расскажу ей сказку про Индию. И все время тоненько смеялась.

Побег

Утром нам с Виталиком должны были делать одинаковые анализы: что-то с кровью. По этому поводу мы не завтракали. Так как у Виталия в палате освободилось место – Павлика перевели в другую больницу – меня положили на его постель.

Виталий рассказывал что-то про Тиля Уленшпигеля и про то, что сегодня его выпишут и красавица мама приедет за ним из Торжка. Это мама попросила, чтобы его выписали пораньше. Завтра у него день рождения. Ему уже пятнадцать. Надо думать о работе. А что кровь сейчас берут, так результат вышлют по почте. Тоже мама договорилась. Она у него пробивная. И такая красивая! Ха-ха, Ольк, а ты знаешь, что Павлик каждую ночь в кровать ссал? Ему няньки сначала меняли белье, меняли (говорят, его мать даже деньги давала), а потом надоело, завязали. Так что ты смотри, не измажься!

Страшно хотелось домой. В свою постель, в свою старую ночнушку.

В положенное время медсестра освободила нас от проводов, колбочек, пробирок. А после обеда к Виталику действительно приехала мама. Он водил ее за руку из палаты в палату. Мама улыбалась и охотно позволяла оглядывать себя. Она вовсе не была такой красивой, какой описывал Виталик. Просто милое добродушное лицо. Очень похожее на Виталиково, только женское.

Он вернул мне – теперь уже навсегда – «Тиля Уленшпигеля» и уехал в Торжок.

Собралась я быстро. За одеждой не пошла, доеду и в халате. Выкрасть шубу оказалось проще простого: все висели около умывалки в низеньких шкафчиках. Дверь из отделения, обычно запертая, сегодня, после отъезда Виталика, оставалась приоткрытой. Нельзя было терять ни минуты.

Ноги – в ботинки, руки – в рукава. Шнурки болтаются, торчит снизу халат. Только бы спуститься вниз, там уж – как-нибудь.

Дед молодец – лифт предусмотрел. Теперь все больше ездят, чем ходят пешком по лестнице. И все-таки я слышу шаги. Снизу, прямо на меня. Какая-то мокрота из-под волос заливает глаза и лицо. Лечу, развевая полы халата. Молодая врачиха удивленно остановилась; наверное, оборачивается мне вслед. Лечу дальше. Пора уж быть на первом этаже, а я все лечу. Может, это из-за того, что шнурки попадают под ботинки. Тормозят. Трение создают. Наконец, знакомый лабиринт. Несусь по каменным кишкам. А по бокам трубы, трубы. «Кишки в кишках», – думаю я мимоходом.

Брезжит свет, скоро выход. Но какой? Здесь заблудиться – раз плюнуть. Я ведь и была тут всего однажды.

Гардероб справа, гардероб слева. Тетка в ватнике справа, дядька за письменным столом – слева. Теткины руки, дядькины крики: «Куда ты, девочка? Почему без провожатых?»

– МАМА ЖДЕТ МЕНЯ У ДВЕРИ, ВОН ОНА, МАМА…

– Да где, где ее мама? Держи-и!!!

Трамвайная линия, рынок, жилой дом. Скоро будет автобусная остановка. Того, что везет почти до дома. На перекрестке пересяду и… А я без шапки, оказывается, и без рейтуз, и без варежек… Здорово морозит… Зима. Зато как весело! Это от веселья и озноб, и слезы. Странно, что чулки надеты. Когда это я сообразила? На лестнице? Может, мне та высокая врачиха помогала чулки натягивать? Ну и потеха! А вот автобус. Наконец-то. Здесь хоть теплее. Но я же без денег. А вдруг контролер? Опять озноб. Теперь, наверное, от страха.

Наш перекресток. Ленинский проспект – мы как раз недавно сюда переехали из центра. Почти сразу подходит второй нужный мне автобус. Продержаться бы всего остановочку. Да-а-а, видик у меня.

Все. Нет, не все – ведь я и без ключа.

Еще не успеваю позвонить, только руку подняла – дверь распахивается. За ней – разговаривают родители. Мама ищет ключ и коробку конфет. Папа одевает пальто. Стою по другую сторону. Молчу и слушаю. Вдруг появляется передо мной папа. Во весь рост в темном прямоугольнике приоткрытой двери. Тоже стоит, молчит и, наверное, слушает. Мама что-то ему кричит из комнаты, а он все стоит да молчит. Мама подходит к двери. Одну всего минутку стоит, молчит и слушает вместе с нами. Потом начинает плакать.

Меня перетаскивают за рукав через порог.

Я дома.

Родители ни о чем спрашивать не стали. Я быстренько разделась и помылась. На постели лежала чистая ночнушка, а рядом, на столике, «Маугли». Это я первым делом заметила, еще из коридора. Мама с папой ушли. Я и не спросила даже – куда.

Наша с Витей комната всегда казалась мне удивительно голой и темной, похожей на коридор. Бесприютной какой-то. А оказывается, в ней такой яркий и в то же время мягкий свет. Она вся им сейчас наполнена, ослепительным желто-розовым светом – желтым от люстры с потолка и розовым от заката за окном.

На столике, под «Маугли», еще полно книжек. «Рики-Тики-Тави» и другие тоже Киплинга, «Сказки» Куприна, «Волшебные сказки» Перро, «Сказки братьев Гримм», «Былины». А в самом

низу стопки – та книжка о птицах, которую Витя читал мне в больнице.

Улыбка негра

Я лежала в постели, закрыв глаза, и глупо улыбалась, когда раздался долгий требовательный звонок в дверь. Открывать мне почему-то не хотелось. Я продолжала лежать, не двигаясь. Звонок повторился. Нехотя бреду к двери, спрашиваю: кто?

– Почта, – сразу ответил мне женский голос.

Я приоткрыла. Чья-то нога вклинилась в щелку. Пришлось распахнуть дверь пошире. Передо мной стояли две незнакомые молодые женщины.

– Ах, ты, дрянь! – начала сразу одна из них, завитая барашком. – Да у нас такого за десять лет ни разу не было. Где родители?

Не дожидаясь ответа, они отодвинули меня и вошли.

Опасаясь, как бы меня не вернули обратно, я быстро улеглась в постель. Женщины закрыли дверь в мою комнату и отпустили на полную мощность воду в ванной. Через грохот падающей струи я слышала их смех и выкрики:

– Ха-ха… Тань… Бумага есть? Ха-ха-ха… Ну, скажешь… Спроси у… Где карандаш?..

Вскоре дверь хлопнула. Я поняла, что они ушли, но некоторое время не вылезала из постели. Наконец решилась. Квартира была пуста. Только в ванной по-прежнему хлестала вода; я закрыла оба отвернутых до отказа крана. Сильно хотелось есть.

В холодильнике нашлись старые рыбные консервы. Почерневшая шпротина загнула кверху свой обветренный хвост. В хлебнице – горбушка обдирного. Нормальный ужин, после слизистых больничных супов.

Шеборшение ключа в двери – это родители.

Мама из коридора бросила мне на кровать рейтузы. Оказывается, родители были в больнице, забрали мои вещи. Рейтузы нянечка подобрала на лестнице, около отделения. Наверное, из рукава вывалились: я люблю все пихать в рукав, даже зонтик.

Рассказала я о странном визите, а папа на своем письменном столе нашел записку. Она была суровой. Сестры писали, что позор лежит отныне на голове моего папы: ведь это, конечно, он воспитал такую дрянную дочь. Они требовали, чтобы наутро родители явились на врачебную пятиминутку. И судя по тем пунктам, которые сестры предполагали вынести на обсуждение, пятиминутка грозила перерасти в целый час. Еще они предупреждали папу, что позаботятся о письме «куда надо». И «где надо» папе наверняка «влепят выговор по партийной

линии».

Мне стало страшно за папу, но ведь иначе поступить я уже не могла.

Вити в то время в городе не было, и я осталась в комнате на ночь одна. Хотя я очень люблю, когда Витя дома, теперь я радовалась, что в комнате никого. Я всегда боюсь проговориться ночью о чем-нибудь таком, секретном. Хотя сейчас у меня особых секретов нет, но все-таки…

Однажды мне всю ночь снилось, что я ругаюсь плохими словами. И проснулась я оттого, что выкрикнула громко слово «сволочь». Было уже часов десять, и Витя давно не спал. Он читал книжку, лежа на своей кровати. Мама всегда его ругала и говорила, что Витя испортит себе глаза. Но плохое зрение оказалось почему-то у меня, хотя я никогда не читаю лежа. Так вот я увидела Витю и подумала, что раз я проснулась от своего крика, значит, и он должен был этот крик слышать. Однако спросить прямо я не решалась. После нескольких часов муки, я осведомилась, не кричала ли сегодня во сне. Витя хмыкнул и сказал, что нет, он во всяком случае не слышал. Это было утешительно, но не слишком. Все же я с тех пор побаиваюсь ночевать с кем-нибудь в одной комнате.

История с побегом кончилась благополучно. Следующим утром мама одна пошла на пятиминутку. Когда дело важное, мама всегда ходит одна, никого из нас не берет. Она говорит, что мы (то есть папа, Витя и я) ничего не умеем и все только портим. А мама, по-моему, вообще все может. Она даже может смеяться так, как актрисы в театре. Мама запрокидывает голову, открывает рот уголками вниз, и громко вызывающе хохочет. Иногда, если я уверена, что у нее хорошее настроение, я прошу ее немного так посмеяться.

Вернулась мама с летучки довольно скоро. Папе никто не собирался «пакостить», так она сказала. Оказывается, за мной сразу снарядили погоню, но она потеряла след и направилась к Университетскому проспекту, а я свернула в переулок, к автобусу. Поэтому мне удалось уйти беспрепятственно, а погоня явилась к нам так не скоро.

На пятиминутке маму немного поругали, сказали, что я вообще «недисциплинированная». Но это мама давно и без них знала. А потом вдруг врачи стали говорить, что, действительно, у них в клинике не все еще идеально, что надо очень много трудиться и стараться, чтобы стало лучше. Мама с ними охотно согласилась и сказала, что ей пора.

Моя врачиха вручила ей выписку из истории болезни и еще одну небольшую бумажку. На ней с одной стороны было

напечатано все, что мне можно есть и пить, а с другой – чего нельзя. Этого я перечислять не стану – слишком долго получится. А вот что можно – скажу. Всего три строчки.

«Отварные постные мясо, рыбу, каши на воде. Хлеб черный сухой. Отварные овощи: картофель, морковь, репу, брюкву (брюквой не злоупотреблять)».

Все. Совсем удручила меня пометка о брюкве. Я ведь даже не знала, что это за овощ, в глаза никогда не видела, а мне предлагают им не злоупотреблять.

Делать нечего. Мама сразу же сварила целую кастрюльку манной каши на воде. Каша была серой и студенистой на вид, с прозрачно-синей каймой по краям, а на вкус – просто тошнотворной. Чтобы я не очень огорчалась и заела чем-нибудь эту гадость, мама испекла высоченный круглый торт «Улыбка негра». В нем было три слоя: сверху и снизу – черные, посередине – белый. А между пластами теста – очень вкусный крем из взбитой сметаны.

Красное пальто

Когда мне было лет шесть – семь, у нас часто не хватало денег и каждая новая вещь становилась событием. Тем более обидно делалось, когда мама покупала совсем не то, что я хотела.

У меня был верный способ подглядывать, что происходит вокруг: когда все уверены, что я сплю. Мне это помогает до сих пор. В оставленную между веками щелочку как-то вечером я увидела маму. Еще не сняв пальто и шляпу, она осторожно откинула край одеяла и начала натягивать на мою сонную ногу бесформенное серое чудище. В носу защипало, и я проскрипела, чтобы мне не мешали спать.

Вот так всегда: плачу, вместо того, чтобы радоваться. Я ведь тогда и не догадывалась, что ботинки – лишь прелюдия к тому, что ждет меня впереди.

А впереди ожидало *красное пальто*. Оно тихонько качалось на деревянной вешалке в маленьком незаметном магазине. Никто не покупал его, даже не снимал, чтобы примерить, и оно тихо ждало своего часа. И дождалось.

Еще в младенчестве, перешедшее от каких-то родственников, я получила зеленое пальтишко, отделанное бархатом, с бархатным капором. Я носила его аккурат до шести лет, пока оно не превратилось на мне в курточку. И вот не прошло недели после истории с серыми ботинками, как родители объявили, что сегодня мы едем покупать пальто.

Погода была сухая и холодная. Коленки под рваными рейтузами пощипывало от мороза. Родители почему-то имели вид крайне торжественный (папа даже надел выходной белый шарф), а мне было невесело. Мы приехали в небольшой магазин, где висели ряды разноцветных пальтишек всех размеров. Как только мы вошли, я решительно направилась к стенду, на котором расположились вишневые короткие пальтишки с капюшоном и деревянными пуговицами. Сорвав одно с вешалки и вываляв по дороге в пыли, я надела его и замерла от восторга. Это было оно, единственное возможное. Но родители так не считали.

Мама быстро попросила меня раздеться, даже не взглянув как следует на мою добычу, и начала засовывать мои руки в какой-то алый мешок. Папа стоял рядом и говорил, что это чудесное пальто, что мне хватит его не на один год, стоит только подшить как следует. И действительно, мешок приходился мне почти до щиколотки. Я пыталась объяснить, что то, первое, красивее и впору, но мама твердо сказала, что это не «впору», а «впритык», и что обсуждать тут нечего. Я не могла смириться с мыслью, что

стану обладательницей этого кошмарного алого балахона, но переменчивая моя фортуна распорядилась иначе.

Наша грустная процессия – молчащий папа с тюком, орущая на меня мама и захлебывающаяся от слез я – медленно двигалась к дому. Какая-то женщина сказала, что заберет меня к себе, если я не перестану реветь, но я не перестала, и тогда мама назвала меня «просто тряпичницей». От этого стало совсем невыносимо, и я твердо решила убежать к бабушке Сане – маминой маме.

Тем же вечером соседке Наталье Алексеевне было поручено подшить пальто снизу, в рукавах и перенести пуговицы. Наутро я была обряжена по всем правилам. Хорошо, что у нас тогда не было большого зеркала, и я могла разглядывать себя лишь по частям. Но и части эти не радовали.

Плечи, бывшие мне сильно велики, спускались почти до локтя, а рукава были подвернуты вдвое. Застежка, в обычном виде приходившаяся чуть влево от центра, переместилась почти подмышку. Снизу пальто стояло колом, и мои тонкие ноги пребывали в центре окружности. Стоило мне повернуться – пальто поворачивалось вместе со мной. Было похоже, что в подол мне зашили стальную проволоку и это она всему задает тон. Еще я напоминала себе Ивана-дурака из русских сказок, который переминается с ноги на ногу в кургузом тулупе с большим запахом и подолом-абажуром.

Я росла, и пальто росло месте со мной. Его последовательно отпускали, оно не думало рваться, и никакой надежды на перемену не оставляло. Папа оказался прав: пальто служило мне без малого шесть лет, и я думаю, прослужило бы еще столько же, если бы не случай.

Когда мне было уже двенадцать, вскоре после истории с побегом из больницы, я отправилась на занятия английского языка.

Из центра мы переехали на новую квартиру – на Юго-Запад, в 38 квартал, сейчас это, кажется, улица Обручева – и я перешла в новую школу. И лишь пальто оставалось прежним.

Где-то я читала, что толстые люди склонны беречь свои силы и ходят гораздо меньше худых. Так вот я, несмотря на свою худобу, по природе человек толстый. Я всегда езжу там, где это можно, даже если погода хорошая, идти недалеко и другой худой с радостью бы прогулялся. Поэтому вместо того, чтобы пройтись до дома англичанки, я всегда доезжала остановку на автобусе. Автобуса, против обыкновения, ждать не пришлось, все быстро вышли, и я поставила на ступеньку одну ногу, чтобы потом присоединить к ней другую. Но вот этого-то мне сделать и не удалось. Двери захлопнулись, автобус тронулся.

Он медленно набирал ход, а я в это время довольно быстро скакала за ним на одной ножке. Скоро мне это занятие наскучило. Я поняла, что за автобусом мне все равно не угнаться и, оставив в его распоряжении одну ногу, подогнула другую, удачно шмякнувшись в липкую грязь. В ушах засвистело. Опомнившись, я стала звать на помощь и просить, чтобы автобус остановили. Но он упорно ехал дальше. Наверное, прошло совсем немного времени, всего минута или две, потому что, когда взвизгнули тормоза и автобус все-таки остановился, я заметила, что мы доехали как раз до моего дома.

Из окна водителя послышалась ругань. В ответ срывающийся старческий голос отказывался уйти с дороги и требовал, чтобы открыли заднюю дверь. Водитель вышел из автобуса. Смертельно-бледный шофер и багрово-красный старик приблизились ко мне. Шофер был широколицый, приземистый, и хотя он, наверное, хорошо побрился утром, борода его обозначилась синевой. Старик же наоборот показался мне снизу очень высоким; белые как лунь волосы дополняла такая же белая остренькая бородка.

– Теперь вы видите, черт вас возьми, что я не зря вас остановил? – гневно кричал старичок, вытирая платком пот, лившийся потоками из-под высокой меховой шапки.

Я молча лежала на земле, а они спорили и ссорились, не обращая на меня ни малейшего внимания. Из их разговора я поняла, что старичок ждал обратного автобуса на противоположной стороне улицы и очень скоро увидел меня, поверженную, а увидев, припустился бежать за автобусом, обогнал его и встал посреди дороги, маша руками.

Тут водитель взглянул на меня, выпучив глаза, не делая и шагу, чтобы освободить мою полоненную ногу.

– А я думал, это сирена «Скорой помощи», – выдавил он.

Вид у него был здорово несчастный, но мне его жалко не было, я была по горло полна всем происшедшим.

Наконец, старичку пришло в голову, что неплохо бы меня поднять; он отправил водителя открывать дверь, помог мне встать и кое-как отряхнуться, даже сбегал за сумкой с учебниками, которую я выронила по дороге, и ушел.

Оставшись с водителем, я почувствовала себя командующей парадом и, осуществив, наконец, первоначальный замысел, влезла в автобус. Я сразу села на свое любимое место – второе сиденье справа, к окошку, туда, откуда лучше всего видно, что происходит на тротуаре. Водитель через минуту тяжело поднялся вслед за мной и объявил, что повезет меня в больницу (так велел ему старичок). Я не возражала.

Повез он меня во взрослую районную поликлинику. Я

постоянно чем-нибудь болела, и мама говорила, что торчать в очередях – ее работа. Так что теперь особенно приятно было растолкать народ у двери в кабинет хирурга под строгий окрик медсестры:

– Разрешите, тут с травмой!

Никаких повреждений у меня не оказалось, если не считать синяка, который успел уже растечься радугой по всей зажатой ноге. Забавно, но ведь, похоже, именно красное пальто непробивной своей толщиной спасло меня тогда.

После я с интересом следила за превращениями цвета на синяке; можно было составить график последовательности, в какой он проходил спектр от красного до желтого через все оттенки фиолетового и зеленого. Но это мелочи. Главное заключалось в том, что из поликлиники водитель повез меня прямо к дому, лихо поворачивая по перпендикулярам наших дворов. А я стояла у опущенного стекла за его спиной и показывала, куда дальше.

Наконец, на удивление всем соседкам – завсегдатаям лавочки у подъезда, автобус остановился. Водитель с испуганным лицом вышел и, взяв меня под руку, повел домой. Ну еще бы ему не испугаться: дома-то мама. И хоть ему неоткуда было знать, что мама иногда очень громко кричит, если чем-то недовольна, шофер, по-видимому, догадывался об этом.

Мама у нас вообще очень нетерпеливая и вспыльчивая. Сама она эти качества не считает недостатками, скорее – наоборот, и, накричав на нас, обычно приговаривает назидательно:

– Не бойся собаку, которая брешет, бойся ту, которая молчит.

Как-то, когда мне было года два, она кормила меня манной кашей. Я ела неохотно. Маме надоело, и она, вложив столовую ложку мне в руку, сказала:

– Ешь сама.

Видимо, я отказалась, потому что мама взяла сначала ложку, потом тарелку с кашей и намазала кашу ровным слоем мне на лицо. А зачем, спрашивается, мазала? Сама же потом смывала.

Так вот, шофер поначалу хотел даже остаться на лестнице, но потом решился войти в квартиру. Дома оказались мама с Витей. Выслушав наш сбивчивый рассказ, мама кричать почему-то не стала, а сразу потребовала, чтобы я показала ногу. Вид красно-синей моей ноги как будто вполне ее удовлетворил, и она проводила шофера, заверив, что жаловаться мы никуда не будем, но что ему следует быть повнимательнее. Однако пожаловаться успел тот старик, что встал посреди дороги, и милиционер был у нас тем же вечером.

Когда милиционер пришел, Витя отозвал меня в кухню. Он

увлекался Львом Толстым и индийским философом Ганди. Требовательно глядя мне в глаза, Витя говорил, чтобы я ни под каким видом не смела упрекать шофера, а то ему будет ой, как плохо. Я обещала.

Потом милиционер приходил еще пару раз и сказал, что хоть мы и не жаловались, шоферу все же пришлось «вкатить строгача».

Вернемся, однако, к главному – красному пальто. Как я и предполагала, после моего падения оно ничуть не пострадало. И когда мама принесла его из чистки, я с ужасом увидела, что могу носить его еще лет десять. Но я решилась.

Вечером, когда все были в сборе, я, потрясая ногой с еще не сошедшим синяком, стала требовать компенсации за моральные потери – нового пальто. Родителям пришлось отступить. На следующий день, после школы, мы поехали с мамой на ярмарку в Лужники, где купили чрезвычайно некрасивое, но зато выбранное мной новое пальто. А красный балахон было решено отослать родственникам в Серпухов. Мы им посылали все еще крепкие мои и Витины вещи разом, когда их набиралось на изрядный тюк. И теперь, пока мое вечное пальто с отрезанными в чистке пуговицами висело в шкафу, дожидаясь компании, я с невольным трепетом думала о том, что оно не уйдет отсюда просто так. Я представляла, как новое рвется или его крадут, и я снова облачаюсь в это, благо к тому времени, когда мне исполнилось двенадцать, оно стало мне как раз впору.

Царские палаты и их обитатели

Как я говорила, в 38 квартал мы переехали из центра. А вообще-то всю жизнь до этого я прожила в старинном особняке с резным забором на углу улицы Станкевича (теперь это Вознесенский переулок) и Елисеевского переулка. В середине 60-х годов, когда на окраинах началось бурное строительство панельных пятиэтажек, наш раёшник решено было снести, а на его месте разбить сквер.

В доме за резным забором мы владели довольно большой комнатой, и родители решили, делая ремонт, заодно разгородить ее на две: одну – себе, другую – нам: домработнице Нюре, брату Вите и мне.

Перегородку ставили два дядьки, а потом один из них остался делать ремонт.

Всего за день он ободрал старые обои, оклеил стены газетами, и, расстелив на полу полоски новых обоев, намазал их клеем. Доделать решил после обеда.

Ушел дядька обедать и запил.

Пил он без продыху месяц. Две недели мы ходили на цыпочках и дышали клеем, потом нас с Нюрой и Витей распихали по родственникам. Родители страдали вдвоем. Дядьке заплатили вперед, и считалось, что именно он обязан завершить дело.

Когда мы вернулись, я узнала, где мое место. Меньшая из образовавшихся комнат была оклеена ярко-желтыми обоями в розанах. Огромные лилово-красные розы со множеством зеленых и золотых листьев на толстенном, похожем на дерево, стебле, покрывали наши стены. Я любила по вечерам, когда Витя делал уроки, а про меня все думали, что я сплю, разглядывать при глухом свете настольной лампы все черточки, выпуклости и изгибы ближайшего ко мне розана. И теперь, когда мы уехали из того дома и отвезли выломанную перегородку на дачу (там ею обит чердак), я всегда нахожу этот розан и здороваюсь с ним, трогая его засаленные лепестки пальцем.

Итак, после ремонта мы стали обладателями двух небольших и темных комнат с кривым щербатым полом. Темно у нас было из-за густого сплетения веток прямо перед окнами. Однако родители ни за что не соглашались подписать бумагу с просьбой вырубить деревья. А когда их все же вырубили, в семье несколько дней все ходили мрачные.

Мебель у нас была сборная: со всех родственников – по вещи, и всё какие-то неинтересные. Единственным предметом, неизменно привлекавшим мое внимание, была родительская

люстра. Пять плафонов матового стекла глядели вверх, держась на бронзовых палках в виде мускулистых львиных лап. Лапы сходились в центре, и каждая висела на тяжелой золоченой цепи.

Ничего более топорного мне видеть после не приходилось. Да и тогда люстра вовсе не нравилась мне. Однако с ней были связаны некоторые мои далеко идущие планы. И однажды, после завтрака, я сделала папе решительное предложение: наши комнаты необходимо было переоборудовать в царские палаты.

Незадолго до этого мама водила меня в Кремль. Маленькие темные горенки, забитые сундуками и кривыми деревянными стульями, определенно напоминали наше безрадостное жилище. Люстра же казалась мне просто воплощением помпезного царского великолепия. Она вполне способна заменить красный угол, заполненный иконами в драгоценных окладах. Был у нас и старый сундук. Не хватало, по-моему, только позолоченной лепнины в углах, да золотых наличников на окнах. Этими вопросами я и предложила папе заняться. Он, как обычно, торопился на работу, кивнул мне в ответ, но по-моему, не очень внимательно выслушал. Я разговора не возобновляла, ждала папиного отклика. Его все не было. Тогда я решила облегчить задачу и просто повесить над нашими окнами, со стороны улицы, надпись: ЦАРСКИЕ ПАЛАТЫ. Надпись должен был выполнить Витя – он хорошо рисовал – золотой краской. Я ему все это изложила, а Витя только рассмеялся.

Дом наш был двухэтажный, длинный, изогнутый в форме буквы П, и хотя его разделили на множество квартир, уборная была одна на всех, а ванной и вовсе не было.

Мы жили с соседями в маленьком закуточке. Кухни нам не полагалось, так что плита стояла там же, где висели пальто – в крохотном двухметровом кубрике. Одна дверь из него вела к нам, другая – к соседям.

Постоянных соседей у нас было трое: Толька Никитин, его мать и бабушка. Раза два или три за все время, заваливался переночевать Толькин отец. Он, кажется, сидел за убийство и, едва успевая выйти, снова где-то бедокурил, потому что следующим утром он исчезал так же внезапно, как до этого появлялся. И снова на несколько лет.

Толькина мать, Наталья Алексеевна, была крикливой работящей женщиной. Все последние годы она проработала уборщицей в метро, а, уйдя на пенсию, не отказывалась ни от какой поденной работы: штопала, мыла полы, стирала.

Бабка Анастасия Кузьминична, добрая старуха, на вид была самой настоящей из всех сказочных ведьм. Сгорбленная, с кривым носом, который того и гляди срастется с выставленным вперед

подбородком, шамкающая беззубым ртом, она пугала смуглой желтизной лица, а также обилием на нем угрей и бородавок. Маленький пучок грязно-серых волос красовался на макушке. А глаза у Анастасии Кузьминичны были очень живые, очень добрые и очень черные. Такие черные, что зрачков в них было не различить. Она все больше молчала, была богомольная и нежно любила всех на свете, а особенно – внука Тольку.

Сам Толька – тридцатилетний пьяница и вор, постоянно менял профессии, халтурил и воровал, где только мог, чаще по мелочам. Подделает, например, жетоны, которые давали в молочной за пустые бутылки, и ходит себе, получает каждые полчаса по пятнадцать копеек. Или еще случай: устроила его мать тоже в метро, сторожить эскалатор. Проработал Толька два дня, и стало, наверное, ему скучно, потому что на третий день он явился на работу пьяный. Тольку погнали. Пропив последние, отобранные у бабки Анастасии деньги, Толька решился на крайнюю меру. Он надел чистую рубаху, намазал башмаки гуталином и пришел на службу. Сразу к начальнику – просить отгул: мать у него померла. Пожалели все тетю Наташу, дали Тольке отгул и денег на похороны.

Гулял Толька два дня и две ночи, а на третий день захотела тетя Наташа навестить подругу. И пошла в метро. Народ там поначалу перепугался, потом, правда, разобрались, что к чему.

Толька в очередной раз уволился «по собственному желанию». После недели пьянства к нему стал наведываться милиционер, а когда нависла угроза выселения за тунеядство, Толька пошел работать в цирк униформистом – рабочим на арене. Несколько раз он доставал нам билеты на представления, и я все время не так ждала следующего номера, как смены оборудования на арене. Тогда выбегало несколько мужчин, они уносили старые атрибуты и выносили новые. Так здорово было обнаружить среди них Тольку в голубой бархатной куртке и расшитых золотом штанах!

У Тольки тогда сразу появились замечательные друзья. Был среди них даже поэт по прозвищу «Маяковский». Толька очень восхищался его стихами и, выпив, любил декламировать их в коридорчике, подпирая спиной дверь комнаты. Но это когда благодушествовал. А уж если бывал не в духе…

Размяв мускулы у себя дома, Толька вылезал за пределы комнаты – с людьми пообщаться. Однажды тетя Наташа поставила в коридорчике на лавке корыто с грязным бельем. И вот раздраженный чем-то Толька перевернул корыто, вывалил белье на пол и стал яростно топтать его сапогами. А грязная вода потоками лилась в нашу комнату, стекала по покатому полу,

скапливаясь под окном у стенки.

Иногда, если родителей не было дома, тетя Наташа у нас спасалась. Она просила меня позвонить в милицию:

– Олечка, ты позвони, а когда они приедут, я скажу, что не я ведь звонила-то… А дурень мой испугается.

Инсценировки эти мы устраивали довольно часто. Но Толька почему-то совсем не пугался, и кончалось дело новым дебоширством.

Впрочем, лично ко мне Толька относился исключительно нежно. Он всегда расцветал, когда я заходила к ним в комнатку – чаще всего, чтобы посмотреть иконы, которых был целый угол. Немного выпив, Толька любил сажать меня на шею или на колени. Если дома оказывалась мама, она кричала, что он меня уронит. Иной раз Толька, если бывал свободен, ходил со мной на прогулки. Всегда возвращался страшно расстроенный и говорил маме:

– Да-а-м, девка у вас совсем никуда; сама идет, а ноги-то заплета-а-ются…

Делал Толька мне подарки. Однажды мы отправились на очередную прогулку и чинно прохаживались у памятника Юрию Долгорукому, как вдруг заметили, что у женщины, которая шла перед нами, из кармана сыплются деньги. Сделает шаг – монетка, еще шаг – еще монетка. Толька приноровился к ее шагам и подбирал, не ленясь. Набрав немного больше нужной суммы, он окликнул женщину, вернул ей излишек и сказал, что у нее продырявился карман. Потом Толька торжественно повел меня в бывшую филипповскую булочную и купил ужасно вкусную калорийку.

Дары Востока

Больше всего мне в детстве обидно было бегать за старшими. Идет какой-нибудь взрослый, держит тебя за руку и ни капельки с тобой не считается. Идет так, будто спешит на поезд, а ты трусишь рядом, выбиваешься из сил. Я даже тихонько плакать принималась, когда совсем делалось невмоготу. Но родители – ладно, они всегда куда-нибудь опаздывали, и вообще, по-моему, часто забывали, что кто-то там обретается под ногами. Но вот Нюрка, домработница, та нарочно, я в этом была уверена.

Мы с ней иногда ссорились чуть не до драки. Она была ярая: если что не по ней – тут же в крики, в ругань, могла и огреть. Но именно ее я почему-то не боялась и не уступала ни в чем. Она даже как-то с уважением сказала:

– Ну ты и стерва! К каждой бочке затычка…

Нюрка вообще выступала в нашей семье в роли словотворца. Не успела она у нас поселиться, как дала мне раз и навсегда прилипшее прозвище – Лопух. Кроме того, Нюрка ввела в обиход кучу выражений, без которых даже теперь, когда она вышла замуж, никто из нас не обходится. Вот некоторые.

Узнав, что мама задержит ей жалование:

– Что мы, бедные, что ли, или мало кому должны? Подожду.

Мне, когда в комнате, по мнению Нюрки, душно:

– Эй, Ольга, отзынь окошко!

Мне же, когда в комнате, по мнению Нюрки, прохладно:

– Закрой окно-то. А то жарко ей. Разжарела…

На упреки мамы, что Нюра подарков не носит, все в деревне в сундук кладет:

– По ягодке, хозяйка, по ягодке – а на кузовок будет. (Нюрка до 35 лет копила себе приданое.)

Кому угодно, в пылу спора, когда аргументы кончились:

– А ты мне не тычь, я те не Иван Кузьмич.

Родом Нюра Желтыкина была из деревни, недалеко от Малоярославца, а на вид – чистая гречанка. Прямоносая, черная до синевы, с большими жемчужными зубами, Нюра все же не была красивой, ни даже хорошенькой. У нее часто лоснился лоб, и она, борясь с этим, обильно смазывала его кремом.

Больше всего на свете Нюра не любила готовить еду и уроки. Что касается еды, она наваривала ведро борща на неделю, и мы послушно поедали его, даже слегла подкисший. А уроки ей надо было делать для школы рабочей молодежи, куда мама отправляла ее почти насильно (мама потом говорила, что на свою голову: в этой школе Нюра познакомилась со своим будущим мужем и

ушла от нас).

А однажды Нюра стала нашим кормильцем.

Папа с Нюрой ехали на машине и везли домой только что купленную радиолу. Такси остановилось на светофоре, как вдруг из-за угла, не соблюдая правил, вылетела длинная черная машина. Нюра сидела сзади, и удар по багажнику подкинул ее на сиденье. Она сильно ударилась головой о потолок и испугалась.

Дома ей сделалось плохо. Вызвали врача, и он сказал сразу:

– Сотрясение мозга.

К счастью, папа запомнил номер красивой лакированной машины, так что когда родители пошли в милицию, там сразу установили, кто владелец. Машина принадлежала послу небольшого азиатского государства.

Не проходит и недели, как этот самый посол присылает Нюрке письмо, в котором обязуется ежемесячно в течение пяти лет доставлять ей посылки с фруктами.

Дело было поздней весной, и как раз незадолго до происшествия я скулила, что забыла вкус яблок. И вот через месяц после письма к нам приходит первая посылка. В ящике ровными рядками лежат крупные зеленые яблоки (оказавшиеся потом очень сладкими), бананы, апельсины. Каждый плод обернут полупрозрачной бумагой.

Нюрка выделила часть нам с Витей, часть съела сама, а остальное отправила в деревню – матери. На следующий месяц мы тоже очень ждали посылку, Нюра даже ходила на почту – думала, может, там задержали. Но посылок больше не было. Ни тогда, ни после.

Когда голова у Нюры прошла, мы с нею, оставшись вечером одни, находили по злополучной радиоле какую-нибудь народную музыку и принимались плясать на пари – кто кого. Один раз и я победила. Или пели. Нюрка, лежа на диване, сильным, надтреснутым голосом выводила:

«Зачем, зачем
На белом свете
Есть безответная любовь?..»

А я подтягивала ей своим срывающимся «первым» голоском. С тех пор я страстно люблю русские песни, даже с самыми дурацкими словами.

Однако я почти ничего не сказала о моем брате – о Вите. Он старше меня на целых девять лет. Ему со мной, пока я не выросла, было скучно, и мне с ним поэтому – тоже. Я лучше помню его приятелей того времени, чем его самого. Любить я его стала гораздо позже, тогда, когда он вспомнил, что у него, оказывается, есть сестра. Представляю себе, как он, наверное,

удивился.

В мои же пять-шесть лет мы с ним даже редко виделись. А если и виделись, радости особой это не доставляло, наоборот, одни огорчения.

Витя почти каждый вечер уходил из дома, и родители часто не знали – куда. И вот мама предложила купить ту самую настоящую большую радиолу, чтобы Витя сидел дома и слушал радио или ставил бы пластинки.

Действительно, когда у нас появилась новенькая «Сакта», Витя весь вечер проторчал около нее. Мне тоже нравилось нажимать белые гладкие клавиши (тетя Наташа еще спросила, зачем мы сахар на новую вещь положили), вертеть ручки, следить за миганием зеленого глазка с живым черным зрачком. И хоть я не знала тогда, люблю я Витю или нет, все же мне приятно было, что мы с ним вместе сидим и слушаем радио.

Я стала громко смеяться и выкрикивать всякие глупости. Витя сказал, чтобы я заткнулась, но мне было весело, и даже слезы на глазах выступили от счастья. И тут Витя бросил в меня спичечным коробком. Коробок был пустой, и мне совсем не было больно, но я ревела весь вечер и, по-моему, почти всю ночь, потому что слышала, как легла Нюра и у родителей, за перегородкой, все затихло.

Тогда я тихонько встала, оделась и пошла гулять по комнате, ступая еле-еле, больше всего на свете боясь кого-нибудь разбудить. Я прокралась к зеркалу, перед которым на полочке стояли мамины духи и помада. Я надушила себе волосы и накрасила губы, потом подошла к окну и стала глядеть на улицу. Там было тихо-тихо, листья деревьев молча блестели под фонарями и казались мне похожими на осколки зеленой керамической вазы, которую подарили маме на работе в день моего рождения.

Так я постояла недолго, потом разделась, легла и стерла простыней с губ остатки помады – чтобы никто не узнал.

Бабушка Саня

Больше всех праздников я не люблю свои дни рождения. Самое первое, какое я помню – это мое трехлетие. Я родилась зимой, совсем под Новый год, и у нас была большая елка. Народу собралось порядочно – дети с родителями. Я была сильно возбуждена не столько принесенными подарками, сколько количеством людей и сознанием, что все они пришли ко мне. Каждый новый гость считал своим долгом спросить у меня, сколько мне исполнилось лет, а я, как на грех, никак не могла запомнить. И после каждого вопроса говорила:

– Сейчас…

Бежала к маме и спрашивала:

– Мам, сколько мне лет?

Сначала мама послушно отвечала, затем сказала, чтобы я не лезла, потом и вовсе накричала и отвечать отказалась. Я всплакнула в уголке, а праздник продолжался своим чередом.

С подарками тоже почти всегда получалось как-то неудачно. Через год, на мое четырехлетие, дедушка Леня, мамин папа, торжественно внес в комнату коробку, развязал ее и сказал, что купил мне зверушку. Еще минуту повозившись, он сел на корточки; раздался треск моторчика, и огромная черная мышь, виляя хвостом, ринулась прямо на меня. Я здорово струхнула, вскочила на диван и заорала. Дедушка целый час потом не мог успокоиться от смеха. Тут уж я совсем разобиделась, и мы с ним надолго поссорились. С тех пор, наверное, я ужасно боюсь мышей.

А когда мне исполнилось шесть, все гости (их тоже оказалось шестеро) принесли один и тот же подарок – коробки с набором маленьких книжек. Каждая книжка содержала по сказке какого-нибудь народа мира. После я, оставив себе один такой набор, целые два года раздаривала остальные, и очень беспокоилась, как бы не осчастливить по ошибке бывшего владельца подарка.

Родители обычно покупали мне что-нибудь в течение года и говорили:

– Это тебе в счет дня рождения.

И как-то так получилось, что я гораздо больше полюбила ходить на чужие дни рождения, чем приглашать гостей к себе.

Но теперь, я, кажется, начинаю менять свое мнение.

Несколько лет назад мне попалась одна картинка. На ней художник нарисовал девочку в ночной рубашке. Она летела над полом, зажав подмышками красивые коробки и свертки. Называлась картинка «День рождения». И вот совсем недавно мне показалось, что я тоже сделала круг по комнате, чуть-чуть

оторвавшись от пола. Может быть, это потому, что люди, которые живут за стенкой, догадались с вечера, когда я уже спала, положить у моей кровати подарок? И как знать, если они и в этом году догадаются сделать то же самое, не взлечу ли я еще выше?

Любимым моим праздником всегда был Новый год. Я пишу поздравительные открытки только на него и только тем, кого очень люблю, даже если эти люди живут в одном со мной городе. Мама говорит, что я занимаюсь засорением и без того загруженной почты.

Встречать Новый год я любила не дома, а у баб-Сани. Вообще-то она бабушка Александра Петровна – мамина мама. Но все мы давным-давно зовем ее баб-Саней, даже теперь, когда она умерла.

Я очень люблю, когда собирается вместе много народу. А у баб-Сани такая лавина родственников, что если на Новый год приходит только часть их, все равно народу получается полным-полно.

Баб-Саня очень дружила со всей своей родней, но постоянно с ней жили мамина родная сестра – тетя Люба и ее сын Валерий.

Тетя Люба была балериной. Давно уже лучшим развлечением для меня стало сидеть на круглом диване с резной спинкой или даже за ним, в пустом углу, и разглядывать ее старые фотографии. Вот тетя Люба – пленница татарского хана Гирея. У нее огромные светлые глаза и изогнутые луком ярко-красные губы, которые на фотографии кажутся черными. Шапочка и коротенькая безрукавка усыпаны блестками. А вот тетя Люба – оборванная и лохматая цыганка. На фото она сидит в повозке, но взгляд ее напряжен, она ждет момента, когда ей можно будет выпрыгнуть из кибитки и, едва коснувшись мысочками пола, полететь над сценой.

Тетя Люба старше мамы на целых одиннадцать лет, но она и теперь очень подвижная. Нет ничего веселее ее рассказов. Если она дома, у меня от смеха постоянные колики в животе; баб-Саня тоже хохочет до слез, потом говорит, что так смеяться – не к добру.

Недавно тетя Люба развелась с мужем; они часто ссорились, в ход шла посуда, и баб-Саня иногда боялась, что они заколют друг друга вилками. Паша, муж тети Любы, стал очень толстым, хотя раньше танцевал вместе с ней. Когда он, отдувающийся, с вечно потным лбом, усаживался обедать, тетя Люба начинала с того, что минут десять назло голодному Паше поливала селедку подсолнечным маслом из плотно закупоренной бутылки; потом она оставляла бутылку в покое и, став за Пашиной спиной, начинала, нещадно гримасничая, повторять все его движения и жесты. Я в корчах вылетала из комнаты.

А как интересно рыться в нижних ящиках комода, где сложены куски пестрых тканей, дырявые трико и старинные муфты! Однажды я выпросила одну себе и, повесив ее на веревку, отправилась на Гоголевский бульвар. А все, не замечая, наверное, чудесных цветов из бархата, спрашивали меня, на какой помойке я ее нашла.

Тетя Люба очень любит животных. Особенно кошек. Я боялась ходить к баб-Сане с черного хода, потому что там развелась целая кошачья колония. И кормила ее тетя Люба. С ней из-за этого не разговаривала вся квартира. Вонь на «черной» лестнице стояла, действительно, одуряющая. Когда спускаешься или поднимаешься, надо зорко смотреть по сторонам, а также под ноги и наверх: того и гляди на голову тебе свалится кошка, кроме того, в любой момент ты рискуешь нечаянно наступить на юное кошачье потомство. У тети Любы и в комнате всегда жила какая-нибудь кошечка. Все они были Мурки. Причем кошкам этим очень везло в жизни, чего никак нельзя сказать о единственной тетилюбиной собаке.

Баб-Саня с тетей Любой жили на улице Фурманова (или в Нащокинском переулке) на четвертом этаже старого «доходного» дома. Потолки там высотой четыре метра, а кроме бельэтажа, есть еще полуподвал, который вполне сошел бы за первый обычный этаж в каком-нибудь новом доме.

Все знают, что кошку мышкой не корми, а дай ей понежиться на солнышке. Это относится ко всем кошкам в мире, и к кошкам тети Любы – в том числе. Так получалось, что все Мурки, проживавшие у тети Любы, падали в один прекрасный момент с окна, на котором они грелись на солнце. Но ни одна Мурка не разбилась. Говорят, все они умирали в положенное им время естественной кошачьей смертью: от старости, от ожирения или от чего-нибудь третьего.

Как только тетя Люба обнаруживала, что Мурочки на окне нет, она сразу выбегала из подъезда – и точно: очередная Мурка, вытянув лапки, лежала боком на асфальте под окнами. Тетя Люба всякий раз страшно пугалась и плакала, поднимаясь по лестнице в квартиру. Она входила в комнату, прижимая к груди кошачий трупик.

– Ну, уж эта наверняка… – говорила сквозь слезы тетя Люба и укладывала бездыханную Мурку на подстилку. Не проходило и получаса, как оклемавшаяся кошечка, лениво потянувшись, будто она отлично выспалась, шла тереться о чьи-нибудь ноги.

Собака у нас была всего одна. Ее судьба сложилась трагически, и больше тетя Люба собак не заводила: в знак траура по Бульке. Бульку любили все, даже наши квартирные недруги. И

она всех любила, кроме пьяных. Однажды сосед пришел домой, еле держась на ногах, и Булька, наша крохотная Булька – помесь болонки и шпица – оторвала ему кусок брючины.

Булька отлично ладила с кошками тети Любы. Они вместе катали по полу резиновый мячик, вместе рвали на части какую-нибудь тряпку. Я отлично помню, как, едва заслышав мой голос на лестнице, Буля вылетала, яростно лая и суетясь, к двери – требовала, чтобы ее выпустили навстречу. Следом за ней, шатаясь, выходила баб-Саня, открывала входную дверь, и Булька пушистым белым комом скатывалась на меня сверху. Она прямо с предыдущих ступенек вылизывала начисто мою физиономию, и, так же суетясь и звонко лая, бросалась обратно, приглашая следовать за ней.

Каждое лето Булька ездила с нами в Коломну к родным. Она там худела и домой забегала редко, только перекусить. В одну из наших последних поездок Бульку задавила на шоссе машина. Когда это случилось, мы с баб-Саней гуляли. А к нашему приходу родные уже похоронили Булькины остатки в саду, под одной из яблонь. Хотя Булька к тому времени сделалась стара и могла вот-вот умереть сама, все же тетя Люба и баб-Саня, и все мы так жалели ее, что новую собаку решено было не заводить.

Когда тетя Люба была молодая, она ездила в Китай. И я помню, на стене в ее комнатке, рядом с большим портретом Бульки, висели шесть китайских божков, вернее, шесть масок с длинными разноцветными бородами.

В самой большой из трех баб-Саниных комнат каждый час били старинные часы и каждые полчаса – тихонько вызванивали. Мама говорила, что не понимает, как с ними можно спать. А мне нравилось. Проснешься ночью, послушаешь, сколько пробьет, и засыпаешь уже до утра.

В битком набитом книжном шкафу у баб-Сани стояли огромные старые книги. Часть их была подарена ей за то, что она много лет назад хорошо воспитывала беспризорников.

Я прошу кого-нибудь вынуть мне книгу из шкафа – такие они большие и тяжелые, но и красивые же! Одна обложка чего стоит: кожа, тисненая золотом. Л. Н. Толстой «Война и мир», А. С. Пушкин «Стихотворения», М. Ю. Лермонтов «Поэмы». Но не только обложка в них красива; книги полны чудесных картинок – цветных и черно-белых. Цветные, как в настоящих альбомах, прикрыты сверху листочком воздушной папиросной бумаги. Каждая буква, с которой начинается новая глава, сделана в форме какого-нибудь существа и вся увита вензелями.

Но картинки картинками, а названия книг я знала только с чужих слов. С чтением вообще было сложно. Я очень любила

слушать все, что угодно, особенно, конечно, сказки. Но читать мне почти никто не мог. Нюра, несмотря на школу рабочей молодежи, читать толком не умела; мама всегда была уставшая и охотно читала почему-то только «Конька-Горбунка»; у баб-Сани просто болели глаза. И вот она решила научить меня читать и писать задолго до школы. Скоро я усвоила буквы, и бабушка, порывшись в книгах, достала «Пиковую даму» Пушкина и велела мне читать вслух. И это, пожалуй, единственное нелюбимое мной воспоминание о баб-Сане. Хотя мама считает, что у баб-Сани все-таки два недостатка было. Во-первых, она перекармливала меня яйцами, а во-вторых, каждое утро выливала из окна ночной горшок.

Про первое должна сказать, что действительно у бабушки я съедала ежедневно по два, а то и три яйца. Все говорили, что это вредно. Но ведь я так люблю яйца! Баб-Саня это знала. И, конечно, ей неловко было бы мне отказать, вот она и предупреждала мою просьбу. Так что тут баб-Саня вроде как ни при чем.

А насчет второго… Вообще, это даже полезно. Но узнали мы об этом не сразу.

Каждый день тетя Люба ждала, что вот, наконец, часов так в десять утра, по лестнице поднимется человек и позвонит в дверь. Тетя Люба откроет ему и увидит, что весь костюм и вся шляпа у человека абсолютно мокрые. Уж она-то сразу поймет, под какой дождик попал бедняга. Человек будет громко стучать по полу своей тросточкой, если она у него окажется, или просто начнет сильно кричать. Потом он позовет милиционера, и баб-Саню посадят в тюрьму за хулиганство.

Горшком в то время пользовалась в основном я. И баб-Саня, перевернув его утром в форточку, всякий раз говорила, что детская моча не то что вредна, но и противна быть не может. Раньше ею лечили отложение солей и много других болезней.

Кстати, за все годы ни разу никто не поднялся и не позвонил в дверь, и не пожаловался на баб-Саню. Мы думали, что никто ничего не знает, но ошибались.

Под баб-Саней, на третьем этаже, жили двое старичков: врач-гомеопат и его жена, маленькая рыхлая женщина. Они дружили когда-то с баб-Саней и ее мужем. Но дедушка умер, а баб-Саня и двое стариков давно никуда не выходили из дома. И вот однажды тетя Люба встретилась с женой гомеопата: та гуляла по просторной лестничной клетке. Тетя Люба поинтересовалась ее здоровьем, передала привет гомеопату. И тут старушка спросила тетю Любу, что такое мы каждое утро выливаем из окна?

– Уже много лет все течет прямо к нам на балкон, –

объяснила старушка. – Раньше я вытирала тряпкой, а теперь придумала: выставляю с вечера цветы, а когда мы с Афанасием встаем, они уж политы.

Тетя Люба смутилась, но почему-то сказала жене гомеопата правду. Та, по словам тети Любы, просто расцвела и воскликнула:

– Вот спасибо! Это ведь отличное удобрение. А я-то ломаю голову: почему у меня эпифилиум дважды в год зацвел? Сердечно кланяйтесь, милая, матушке вашей – Александре Петровне.

Так что, выходит, и тут баб-Саня права была.

И только с «Пиковой дамой», мне кажется, она промахнулась. Читать про эту даму мне было ужасно скучно. Я засыпала над страницами и никак не могла дождаться конца. До сих пор я ни разу не перечитала и не посмотрела в театре это многими любимое произведение. Заставить себя не могу.

Однако грамота пошла на пользу, и скоро я сама могла читать сказки и научилась довольно бегло писать. Примерно в это время баб-Саня решила начать воспоминания.

Она стала плохо себя чувствовать после смерти деда. И часто сидела молча на своем изогнутом диванчике, тихонько покачиваясь из стороны в сторону. Как маятник на старинных часах.

Она старалась писать сама, не мешая моим занятиям, но когда совсем уставала, просила меня помочь. Я видела, что баб-Сане неудобно меня просить, а мне было так интересно слушать ее рассказы, и я с радостью писала под ее диктовку.

«Надвигались сумерки. Сидя на крыльце, я думала, что теперь уже не увижусь с Леонидом никогда и, значит, навеки его потеряю. Погруженная в такие безнадежные думы, я не заметила отдаленного звона бубенцов. Но вот колокольчик становится слышней и слышней. Вскоре из-за поворота на дороге показалась тройка, запряженная в пролетку. В нашей глуши звук колокольчика был редкостью».

Худые баб-Санины руки крепко сплелись на коленях. Дрожит на лице четкая сетка морщин. Маленькая лиловая родинка на левой щеке подскочила к самому глазу. Баб-Саня плачет.

В деревне

У баб-Сани во время войны был поврежден вестибулярный аппарат. Из-за этого она шаталась, как пьяный, даже еще больше. Если с одной стороны не было стенки или никто не поддерживал ее, баб-Саня летала зигзагами, но не падала. Она знала, какое это производит неприятное впечатление, и стеснялась лишний раз выходить из комнаты. Усаживалась около форточки, покрывалась огромной желтой шалью и дышала воздухом. Но помню, с каким вниманием она каждый год выдвигала из-за дивана старый чемодан с обувью, доставала оттуда коричневые зимние ботиночки на толстом каблуке, простеленные внутри и отороченные снаружи цыгейкой, и проверяла, есть ли там еще нафталин от моли. Мне они казались верхом изящества. Гуляла баб-Саня только летом за городом.

В самом начале мая, какая бы погода ни стояла, мы выезжали из Москвы. И уже до начала октября. Ездили мы в Коломну. Там жила наша родственница Женя, которая в детстве осталась сиротой, баб-Саня взяла ее к себе и вырастила. Жили мы обычно в светелке, а «хозяева» – в горенках. Женин муж, Иван Васильевич, еще не старый, но совершенно лысый человек, храпел так сильно, что, несмотря на разделявшие нас сенцы, мы могли наслаждаться всеми переливами его храпа. Из-за этого приходилось ложиться засветло, чтобы уснуть до того, как уляжется Иван Васильевич.

У Жени была вся возможная живность и огромный сад, состоявший, в основном, из яблонь. А под деревьями – длинные грядки с клубникой. Сад спускался к реке, так что у нас был как бы свой пляжик. Из детей я так ни с кем и не подружилась: все время мы проводили вместе с баб-Саней. Но кавалером обзавелась.

Соседский парень Борька был на два года старше меня. Мне – три, ему – пять. Светловолосый, чумазый, в драных штанах, Борька был мне глубоко предан. На всех прогулках он ходил за нами по пятам, чуть позади. Среди оравы местной ребятни Борьку можно было узнать по толстенной сопле, которая неизменно нависала над верхней губой. Однако преданность его меня трогала, мне льстили разговоры взрослых о нас.

Несколько раз Борька делал мне подарки. Находил он их, как правило, на соседней свалке. То это была огромная перегоревшая лампа, совсем еще целая, другой раз – ржавый гвоздь тоже удивительных размеров. А однажды Борька принес мне цветы. Маленький букетик куриной слепоты, в середине которого синел колокольчик. Лампу и гвоздь я у него приняла, и баб-Саня

сказала, что надо благодарить. Потом, когда мы оставались одни, она отбирала у меня подарки и больше я их не видела. Но с цветами баб-Саня обошлась по-иному. Она поставила их в стаканчик у моей постели, они долго-долго стояли там, пока не засохли. А потом, спустя несколько лет, я листала одну из самых толстых книг в баб-Саниной библиотеке и обнаружила там аккуратно перевязанный ниточкой, полуосыпавшийся букетик куриной слепоты с потемневшим колокольчиком посередине.

После Коломны мне только один раз в жизни довелось пожить в настоящей деревенской хате.

Я знала, что Витя несколько лет подряд ездил в глухую деревеньку недалеко от озера Селигер. Тем летом он взял, да и позвал меня с собой. Поехали.

Нам сразу повезло. Знакомый Витин парень случайно оказался на станции. Приехал зачем-то на тракторе. Подсадил, подвез к своему дому и сказал:

– Живите.

Не он – топали бы десять километров как миленькие.

И хотя тогда мне было уже пятнадцать лет, в Дедово (так называлась деревня) я чувствовала себя младенцем. Каждый день я засыпала с ощущением, что это просто сон во сне.

Ново для меня было все. И кабаньи следы на лужайке перед домом, и колодезь-журавль, и рассказы хозяйки о недавней встрече с медведем.

Впервые я спала на сеновале. Маленькие колкие соломинки попадали за шиворот и щекотали тело, но в первое же утро я не понимала, как можно спать в доме.

Сразу после завтрака мы с Витей брали четыре ведра и шли в лес. Даже не шли, а входили просто. Я – за малиной, Витя – за грибами. На одном месте крутишься, руки за глазами не поспевают. Уже стоять устаешь, и ведра полны давно, а ягодной красноты вокруг все не убывает.

В лесу я порвала платье. А другого нет. Хозяйка, тетя Даша, постояла молча, подумала; громко топая резиновыми сапогами, пошла в горницу. Из полупустого сундука она вынула старенькое штапельное платьице, встряхнула его и так же молча протянула мне. Платье было лиловое в редких букетиках желтых цветов.

Я переоделась и вышла на улицу. На лице проходящей мимо бабы сначала – испуг, потом – осуждение.

– Батюшки!.. Дарья!.. Сама платье лилово по праздникам одевает, а девчонке дала трепать…

Речка от Дедова текла не близко. Все же в одно утро встали раньше обычного: пошли на Волгу рыбачить. Идти надо лесом, полем, снова лесом. Лес был августовский, а зелень – салатовая,

весенняя.

Метя длинным хвостом пыль, промчалась гнедая лошадь, почти задев меня упругим боком. На повороте свистнул всадник, взвил над головой кнут. Из-под лошадиного копыта, как в старой забытой песне, сверкнула и исчезла в траве стремительная черная змейка.

В этих местах Волга оказалась совсем не «великой». Неширокая, мелкая речушка, сплошь заросшая камышом и осокой. Ребята насадили наживку, засучили штаны. Дошли они до середины реки, а вода еще не покрыла коленей.

Ловили долго. Окуньков скидывали прямо на берег. Я ходила подбирала, складывала вместе. Сварили уху. Сели. А ложек нет. Ни одной. Уха стынет в манерке, все давно перестали смеяться над своей забывчивостью. Всем грустно и хочется есть.

Витя придумал. Нарезал ивовых прутиков, очистил от кожи, заострил с одного конца. Сколько ртов, столько прутиков. Все, что твердое, мы этими прутиками подцепляли – и в рот, а жижку пили в очередь по кругу. Горячие края манерки обжигали губы.

Еще я в Дедово подружилась с Черным. Черный был довольно злобным цепным псом, который мгновенно задирал насмерть кур, кошек или кроликов, когда ему удавалось сорваться. Никого, кроме тети Даши, он к себе не подпускал, да и ту – с едой. Будки толковой у Черного не было. Он коротал время на соломенной подстилке под банькой.

Я не знала, что у пса дурной характер, и сразу пошла к нему знакомиться: погладить и попросить лапу. Лапы Черный не дал, но для ласки подставился, а потом даже лизнул мне руку.

С первого же дня я попросила разрешения кормить Черного. Мы с ним много играли, правда, он был на цепи. Я все еще не подозревала, какой хищник Черный, и однажды спустила его. Черный, почуяв свободу, рванул так, что я растянулась и выпустила цепь. Он кинулся под дом и мигом извлек откуда-то отчаянно сопротивлявшегося куренка. Покатав беднягу лапами по земле и наигравшись вдоволь, Черный помчался искать новую жертву, но тут, к счастью для меня и прочей живности, подоспела тетя Даша. Она огрела Черного по заду, привязала и пошла осматривать цыпленка: бедняга уже сдох. Очень быстро Черный научился узнавать мой голос, и как только я появлялась дома, у баньки начинались визги и суета.

Две недели пролетели за день. Подошел сентябрь, и погода установилась холодная. С сеновала нас перевели в хату. Я спала на печи, в куче старого тряпья, вместе с кошкой. Утром будил меня скрип печного засова и запах топленого молока или крепкого куриного бульона. А перед отъездом хозяйка решила

натопить для нас баню.

В настоящей деревенской бане я не мылась ни разу и, оставив вещи в светлом предбанничке, проторчала в баньке довольно долго. Причем половина времени ушла не на мытье, а на разглядывание многочисленных ковшей, докрасна раскаленной каменной горки, мощной цепи, которая держала котел с водой. Я просто так сидела на лавках, переходя с одной на другую, заглядывая в маленькое запотевшее оконце. Наконец, все же домылась и, голая, выскочила в предбанник.

Лавка, на которой я оставила полотенце и одежду, была пуста.

На дворе полдень, темноты ждать смешно. Позвать Витю я стеснялась, да и чем он мог помочь мне, ведь смены, кроме трусов и майки, у меня не было: ничего лишнего мы не взяли. Дрожа, я стояла посеред предбанника, и вода, сбегая с моего посиневшего тела, растекалась лужицей по белому дощатому полу.

Однако надо было на что-то решиться. Приоткрыла я дверь, высунула голову и стала звать Витю. Витя на мой зов не явился, зато Черный был тут как тут. Он тряс цепью, карабкаясь по лесенке. За ним волочились мои брюки. Еле отогнав пса, я выскочила на улицу и на карачках поползла под баню. Все мои вещи были разбросаны в жилище Черного. Ругаясь, я собирала барахлишко.

Никто меня не заметил, но с Черным я не разговаривала весь день. Наутро, совсем рано, тетя Даша отвозила нас до шоссе на деревенском мерине. Мы простились с Черным и с тех пор не виделись ни разу.

Кое-что о школе

«Я, Леонид и Маня Аравийская – подруга моя, собирали землянику – одичавшую клубнику, росшую на опушке парка, и из лопушков угощали друг друга.

Маня любила рассказывать эпизоды из жизни школы и между прочим рассказывала, как я славилась среди подруг своим умом и красноречием, так что меня прозвали «поэт, философ, оратор Демосфен». У нас принято было давать какие-нибудь прозвища. Особенно меня выделял преподаватель русского языка. Мои сочинения он всегда читал как самые лучшие и говорил, что у Смирновой есть писательская искорка.

Рассказывала, как архиерей раздавал награды лучшим ученицам. Среди Библий и Евангелий в блестящих переплетах, инспектор подал архиерею словарь Павленкова (в то время запрещенную книгу), который предназначался в награду мне. Архиерей спросил:

– Библия?

Инспектор кивнул, и архиерей благословил меня словарем, дал поцеловать книгу и свою руку. Сколько было смеху среди нас после, но инспектор рисковал многим.

Рассказывала Маня, как любили мы уроки физики, которую преподавал в школе Константин Эдуардович Циолковский. Уроки его были праздником: даже самые тупые девочки слушали его, затаив дыхание. Если девочка не могла ему ответить и начинала плакать, он вызывал меня и говорил:

– Вот вы, беленькая, выйдите, объясните ей, может она вас скорее поймет. – Но я-то знала, что лентяйка просто пользуется добротой учителя».

Это – баб-Саня была такой молодец.

Мои дела в школе обстояли, скорее, как у девочки-лентяйки, которая пользовалась добротой учителя. Но не совсем так. Я была тоже девочкой, тоже лентяйкой, был и учитель, но не всегда была его доброта.

У меня с детства некрасивый и грязный почерк, и в первом классе меня чуть было не оставили по чистописанию на второй год. Арифметику я ужасно не любила и всегда боялась быть вызванной, поэтому большую часть урока просиживала под партой, якобы в поисках утерянной ручки или карандаша. А уж о физике в старших классах лучше и вовсе не вспоминать.

У нас была довольно молодая учительница, которая больше всего на свете любила орать и ругаться. Как-то раз мы насчитали, как за один урок она произнесла 25 ругательств, и это без

повторов. Среди таких, насквозь банальных, как болван, дубина, сукин сын, встречались куда более редкие: сопля зарайская, мешок дерьма и другие.

Если она задерживала проверку наших лабораторных работ, то на вопрос, когда она их возвратит, Людмила Андреевна вежливо отвечала:

– Я вам не общественная уборная, хранить ваши бумажки не собираюсь.

Девчонки из класса думали, что у нее неудача в личной жизни. Но как-то раз я встретила троицу: свирепо вопящую Людмилу, ее мужа со страдальческим лицом и ревущего в три ручья вполне симпатичного младенца лет трех. Так отлетело и это предположение. Одной девочке на уроке физики стало плохо: у нее начался сердечный приступ.

Силы мои иссякли, и я решила бежать в другую школу. Но это оказалось не просто. Везде, куда бы я ни сунулась, на меня смотрели подозрительно и отказывали. В очередном кабинете очередного директора все объяснилось. Мне было сказано:

– Девушка, ведь вы в десятом классе. Если вы хотите перед самым выпуском уходить из своей школы, значит, у вас там конфликт. Нет, мы не можем. А если у вас плохой характер?

Я решилась на крайний шаг. Помолившись всем святым, отправилась в школу рабочей молодежи. И там произошло чудо: меня приняли без всяких разговоров, документов и справки о работе.

На следующий день я шла в новую школу. Первым уроком была физика. Я уж про себя загадывала, каким окажется учитель; пугалась, что наша Людмила здесь подрабатывает. Но в комнату вошел плотный человек с желтым болезненным лицом. Немолодой, в очках со стеклами невероятной толщины. Он не обратил никакого внимания на новую личность и еще в дверях, направляясь к своему столу, приступил к объяснению. Я была на нескольких его уроках, где он так никого и не вызвал. Говоря о цикле Карно, сообщающихся сосудах или о чем-нибудь еще, он прибавлял:

– Да-а, вот такая у них (него, нее) манера…

Я от всего приходила в восторг, которому не суждено было длиться и месяц. В старой школе мне не выдали документов. У них, оказывается, есть разнарядка или какой-то план по выпуску. Я поплакала в учительской и заявила, что на физику ходить не буду. Директор, завуч и классный руководитель утешали меня, как могли, сказали, что мучиться осталось четыре месяца и что они с Людмилой поговорят.

С Людмилой они действительно поговорили, потому что она

весь первый урок после моего возвращения демонстративно разговаривала шепотом, объявив:

– Теперь, дети, перейдем на шепот, а то среди вас есть слабонервные.

Но надолго ее сарказма не хватило, и уже со следующего дня вопли продолжались; правда, меня она больше не вызывала, а в году вывела мою обычную четверку.

Пожалуй, единственное, чем я пленяла сердца учителей, было чтение стихов. Но и этому пришел конец. И вот как.

Моим коронным номером в младших классах был «Мороз-Воевода» Некрасова. Я знала его задолго до того, как его прошли по программе. Первый раз я прочла стихотворение на уроке внеклассного чтения, и с тех пор, если кто-то не выучил задания, Ирина Карповна вызывала меня и просила читать «Воеводу». И каждый раз после этого разворачивалась одна и та же дискуссия, очень льстившая моему самолюбию.

Ирина Карповна:

– Ребята, как Оля прочла стих?

Все хором:

– Хорошо.

Она:

– Что мы представляем, когда слышим первые строчки?

Все:

– Мороз Красный Нос.

Она:

– Значит, главное в декламации что?

Все, подводя итог:

– Наглядность и выражение.

Так продолжалось довольно долго. В пятом классе я перешла в новую школу. На первых порах мне удалось покорить себе «русичку», и как-то раз она вызвала меня с урока алгебры в коридор:

– Оля, ты хорошо декламируешь, не могла бы ты быть конферансье на концерте?

Красные круги поплыли у меня перед глазами, и я согласилась, не задумавшись. На следующий день, дрожа и потея ладошками, я, в пионерской форме и новой курточке, подходила к Дворцу пионеров на Ленинских горах. Гордая, прошла сразу за кулисы, миновав своих одноклассников, топтавшихся в гардеробе с жалкими лицами.

Но за кулисами мне стало одиноко и страшно. Во рту пересохло, перед глазами прыгали белые кузнечики. С трудом нашла нашу пионервожатую Люсю, стриженую девицу неопределенного возраста в пионерском галстуке и коротенькой

юбке. Она отвела меня к какой-то женщине как две капли воды похожей на саму Люсю. Но вскоре я обнаружила, что у женщины дергается правый уголок рта, и позже по этому признаку ее и находила.

Я должна была объявлять номера на концерте прославленного коллектива «Московские звезды». Работали мы на пару с высокой черненькой девочкой. Один номер объявляю я, другой – она. Тетенька за кулисами репетировала со мной каждый выход и всякий раз говорила:

– Громче, детка, громче.

Я орала изо всех сил. Потом, ничего не замечая и спотыкаясь в тесных туфлях, я пробиралась по сцене к микрофону и так же громко, как за кулисами, выкрикивала название следующей песни. Мука эта продолжалась почти час. Когда кончилось первое отделение, нас отослали в зал.

Всю вторую часть концерта взрослые мужчина и женщина дергали за веревочки куклу размером с пятилетнего ребенка и говорили что-то, не разжимая губ. Они сами объявили о своем выступлении и о том, что работают в Москонцерте. Но мне давно было не до них и не до их сына Дениски, как они называли куклу. Когда я усаживалась на свободное место в зале, за спиной, на соседнем ряду какой-то парень сказал:

– Ну, та, высокая, еще ничего. А маленькая, с косичками, как заорет в микрофон. Мне совсем не понравилось.

Мне стало очень обидно, и я покраснела. Но в зале было темно, и никто этого не заметил.

С тех пор, я не читаю стихов вслух, и все мои учителя литературы удивлялись:

– Не понимаю, чего тут стесняться?

Летом в Детской

Школа полностью изменила режим нашей загородной жизни. Мы уезжали теперь из города в начале июня, а к сентябрю возвращались. В Коломну мы ездить перестали, потому что у нас появилась своя дача. На работе маме предложили участок, она его взяла, а у папиного знакомого родители купили сруб, который был на этом участке установлен.

Первое лето, пока в нашем доме делали печку и пристраивали террасу, мы снимали комнату у соседей. Но наступило время, когда все было закончено, и баб-Саня, Нюра, Витя и я зажили своим домом в дачном поселке на станции «Детская».

Чтобы туда доехать надо было сделать пересадку на крупной подмосковной станции Болшево, оттуда шестивагонный состав по узкоколейке доставлял нас к поселку.

Для меня такие пересадки были праздником, а мама говорила, что ей хочется плюнуть на эту дачу и сидеть в городе, лишь бы не пересаживаться с поезда на поезд.

Составы к Детской ходили один раз в два часа. Поэтому часто нам приходилось долго ждать в Болшево. Тогда-то и начиналось самое интересное.

Не успев сойти с московского поезда, мы оказывались на вокзальной площади. Все магазины, рынок и развлечения помещались на ней. Если времени до отъезда было много, мы заходили в тир. У меня тогда было не такое плохое зрение, как сейчас, и стреляла я довольно метко. Кстати, я и теперь почти всегда попадаю в мишень, если долго не целюсь. Даже лучше вовсе отвернуться или зажмуриться – и точный выстрел обеспечен.

Но и без тира на площади было полно соблазнов. Во-первых, сладкая вата. Мы неизменно покупали ее. И хотя после нее часто болели зубы, все же отказаться от ваты я не могла. Толстая тетка в засаленном белом переднике откидывала крышку синего ящика, похожего на лоток с мороженым, и кусочком бумаги зажимала клок этой ваты. Тетке не всегда удавалось захватить одинаковые клоки, но любая порция стоила 20 копеек. Желтая эта вата имела привкус жженого сахара, была ужасно липкой, и маленькие кристаллики, из которых она состояла, мгновенно таяли во рту, превращаясь в приторную теплую жидкость.

Напротив тетки с ватой стояла точно такая же тетка в грязном переднике, она тоже торговала товаром, стоившим 20 копеек. У нее были вафельные трубочки, наполненные помадкой

или кремом. Мама больше любила трубочки, а мы с Нюрой – вату. Поэтому мы покупали две порции ваты и две трубки. Мама оставляла нам одну трубочку, а мы ей – понемногу ваты.

Потом шли на рынок. Самое важное располагалось прямо у ворот: куры, цыплята, щенки, поросята; вязаные платки, чулки, шали; плетеные тапочки, корзинки, веники; вареная картошка, соленые огурцы, вареники; раскрашенные плошки, матрешки, ложки; кислый варенец с желтой пеночкой; фигурные леденцы, пряники; расписные яйца, мячи и, наконец, ситные калачи.

Сейчас до Детской прямой поезд из Москвы идет час, а тогда только по узкоколейке мы ехали тот же самый час. Но мне очень нравилось сидеть в полупустом вагончике, жевать вату или трубочку и глядеть в окно. За окном медленно двигались навстречу нам поля, мост через речку, лес. Когда едешь по лесу, ветки хлещут окна, а когда проезжаешь колхозный сад, на заборе видишь огромным скворечником примостившуюся будку сторожа.

На предшествующей Детской станции Ивантеевка поезд отдыхал минут тридцать. Каждый раз мы заводили разговор, стоит или не стоит выходить и идти на дачу пешком. Но оторванность поселка от Москвы заставляла нас нагружаться кучей сумок. Так что всегда ждали полчаса и ехали до своей остановки.

Как сходишь с платформы, надо завернуть налево и идти полем минут пять. В первые годы поле засевали пшеницей, рожью, овсом. В августе мы ходили смотреть тракторы. Стояли у поселка и глядели на тарахтящего железного жука, который медленно полз на фоне заходящего осеннего солнца. Почему-то они работали вечером. И копны сена всегда были. Родители боялись отпускать нас одних в копны – вдруг подожжем, и не знали, что мы горящего сена боимся куда больше, чем они сами.

Дом наш третий слева, стоит в углублении, в самой лесистой части поселка, в сердцевинке. Только у нас живет ласка, еж, семья белок, соловьи, два филина и летучие мыши. Теперь маме все завидуют, а раньше наш участок никто брать не хотел – он самый ничтожный по размеру. Все наши соседи, если у кого и был лес на территории, поспешили его вырубить и насадили большие фруктовые сады. Мы лес почти не трогали; у нас тоже есть яблони, груши, сливы, вишни и даже алыча, но они почему-то совсем не плодоносят. После обильного цвета мы обычно находим хорошо если по четыре завязи на дереве. Но зато эти редкие плоды получаются громадными.

Перед террасой баб-Саня разбивала цветник. Она любила флоксы, левкой и душистый табак. Круглый день баб-Саня проводила в саду, а вечером сидела в своей желтой шали перед

распахнутым окном и дышала цветочным запахом. К концу лета она даже немного переставала шататься.

Мой распорядок дня был таков: до обеда я играла, после обеда спала, потом шла с Нюркой на речку. Вслед за купанием мы пили чай и ужинали. А вечером я читала баб-Сане вслух или помогала записывать ее воспоминания.

С соседским потомством у меня отношения не очень сложились. Мальчики и мы, девочки, постоянно враждовали. На мою долю оставалось три девицы – Лена, Марина и Наташа. Они были на три года старше и любили общаться со мной по отдельности, но когда собирались вместе, делали вид, что я их совсем не интересую. Однажды всем нам было позволено принять душ, только что сделанный Марининым папой. Вчетвером мы подошли к кабинке, как вдруг три девочки сказали, снимая трусики:

– Оль, ты не заходи, мы тебя стесняемся.

День был отравлен, и я осталась без душа.

Долгое время я привирала свой возраст, набавляя себе год, но потом кто-то из родителей выдал меня с головой. Я испугалась, что положение мое в обществе еще пошатнется, но почему-то все осталось по-прежнему.

На речку никого из моих приятельниц не пускали, даже с Нюрой, хоть она и взрослая. Так что ходили мы на Учу вдвоем или втроем, когда мама или Витя к нам присоединялись.

Наша река, больше похожая на ручей, находилась на таком же расстоянии от поселка, что и станция, только с другой стороны. Поселок был разделен довольно широкой дорогой; одна ее часть кончалась воротами (или околицей, как мы их называли вслед за баб-Саней) и вела на станцию, а другая – калиткой и вела к речке. Слева от тропинки располагался огромный овраг, дух захватывало, когда туда заглянешь. В овраг, заросший молодыми березками и всяким кустарником, я одна спускаться долго боялась – вечно оттуда доносились всякие звуки: писки и шорохи. Теперь он совсем помельчал: может, его распахали, а, может, это я выросла.

В то время речка была страшно грязной, покрытой тиной и кувшинками. Там водилось множество лягушек и пиявок, но почему-то пиявки никого не трогали, кроме моей мамы. Берега нашей Учи крутые, сама она глубокая, не один деревенский парень, ныряя, тонул в ней. Но все это не мешает ей быть необыкновенно узкой. Каждый раз, если на противоположном берегу кто-то купался, Нюрка затевала с ними разговоры.

«…После купания возвращались спокойнее, хотя гору брали приступом, наобгонки.

Дома, на крыльце, ждал накрытый стол: горы сдобных ржаных ватрушек, кастрюля ячменного кофе, кастрюля густого горячего молока с розовой пенкой; пыхтел и булькал ведерный самовар.

Все усаживались вокруг стола, и мама успевала наливать – кому кофе, кому молоко, кому чай. После одинокой зимы ее радовало шумное застолье молодежи.

Гостей в это время съезжалось много. После еды мы отправлялись через речку на лодке или вброд босиком на другую сторону. Там от самой реки тянулся заброшенный парк, тенистый и старый, полный причудливых и полусгнивших лавочек.

В парке бывало безлюдно; в развалившемся ныне, а некогда красивом – с колоннами и флигелями – доме доживала век свой барыня, дряхлая старушка, с молодой еще дочерью, от природы слабоумной. Девушка эта, Варвара Ивановна, иногда встречалась нам, здоровалась, как со старыми знакомыми. У нее был удивительный голос, и владела она им прекрасно. Я просила ее поваляться с нами в траве и что-нибудь спеть. И Варя охотно затягивала:

Три девицы шли гулять —
Шли гулять – а-с!
Шли они лесочком
Да темным лесочком.
Да повстречались со стрелочком
Да со стрелочком молодым…

Это была любимая ее песня. Потом Варя неожиданно вскакивала и мчалась к реке купаться. Нисколько не стесняясь, если на реке встречались мужчины, она раздевалась догола и бросалась в воду. Ее редко пускали одну, и она, видимо, старалась воспользоваться свободой».

…В начале девятого, после купания, мы тоже пили на террасе чай из старого блестящего баб-Саниного самовара. Он стоял на подносе, и бронзовое его сверкание служило нам дополнительным освещением. В русской печи, занимавшей добрую половину дома, баб-Саня томила молоко и пекла яблоки. К приезду родителей она делала иногда пирог с капустой или маковую кулебяку. Кончали ужин мы обычно в сумерках.

Больше всякого другого времени я люблю сумерки. Только мне не нравится «сумерничать» – разговаривать в тихом лиловом воздухе; в сумерки я люблю сидеть у окна или медленно ходить по улице и обязательно молчать. И еще я люблю, когда в сумерках зажжены уличные фонари, а в комнате темно. Под

фонарями яснее становится, что день не кончился, он просто заметно постарел, но не превратился окончательно в вечер. В такой час меня охватывают два непохожих чувства – покоя и тревожного ожидания.

И зиму я люблю за сумерки; именно зимой они такие доступные; летом, в девять-десять вечера, если приезжали родители, приходилось идти спать, а в сумерки спать нельзя. Если заснуть в сумеречный час, будут сниться жуткие сны и все равно, когда взойдет луна, она разбудит, и тогда проведешь ночь без сна. Со мной так бывало.

«Наполеон»

Умерла баб-Саня, когда мне было десять лет. Она перед этим неделю болела.

В понедельник баб-Саня отказалась есть. Тетя Люба настаивала. Тогда баб-Саня вылила завтрак в горшок под диваном. И сказала, что жить ей надоело. И больше не ела ни разу. Врачей она к себе не подпускала. Примерно в среду, на третий день ее голодухи, мама привела меня к ней. Баб-Саня лежала на изогнутом своем диванчике, уткнувшись лицом в спинку. Когда тетя Люба объявила, что я пришла, баб-Саня не повернулась. Заплетающимся языком она сказала, что в столе лежат деньги, и велела мне пойти в кондитерскую купить себе пирожное. Я отказывалась, говорила, что лучше побуду с ней. Тут баб-Саня крикнула, как могла громко, чтобы я немедленно шла.

Я поплелась на Гоголевский бульвар в угловую булочную. Там были только коричневые пирожные, похожие на два куска черного хлеба, сложенные один с другим и смазанные не обычным, а шоколадным маслом. Я купила такой бутерброд.

Когда я вернулась, все оставались в тех же позах, что и до моего ухода: баб-Саня, отвернувшись, на диване, мама – в кресле у баб-Саниных ног, тетя Люба стояла, прислонившись к притолоке. На этой притолоке отмечали годы и рост всех трех баб-Саниных внуков.

Когда я сказала, что пирожное куплено, баб-Саня легла на спину и потребовала, чтобы ей показали его. Я поднесла пирожное почти к ее глазам, и она снова крикнула, что это чепуха, а не пирожное. Надо было покупать только «наполеон». Мы все очень любим «наполеон», и тетя Люба даже делает его дома.

В четверг баб-Саня уже не узнала ни маму, ни тетю Любу и к вечеру перестала разговаривать. Она была такая маленькая и худенькая, баб-Саня, много ли ей нужно, чтобы умереть.

В воскресенье, еще лежа в постели, я, как обычно, позвала маму. Мама вошла очень розовая, просто пунцовая, и сказала:

– Бабушка Саня умерла.

И заплакала.

Я тоже плакала весь тот день и следующий. Потом мне стало казаться, что дальше плакать у всех на глазах неприлично, и я уходила в уборную или во двор. На похороны меня не взяли, да я и не рвалась. Лучше я буду помнить баб-Саню живой, ну, на худой конец, просто заболевшей.

Из множества лекарств всю свою жизнь баб-Саня признавала

два: ревень и пятерчатку. Ревень она нежно называла «корешок». Его надо было толочь с сахаром и пить при любых болях в животе. Пятерчатка (а по-научному пенталгин) помогала от всех остальных болезней. Ее употребляли при мигрени, при давлении (как низком, так и высоком), при болях в сердце, при гриппе, при плохом настроении и т. д. Пятерчатка носила домашнее название «одолей моя печали», или, сокращенно, «одолень». В последний месяц баб-Саня пила по пять таблеток одоленя в день. Это была ее крайняя норма. Баб-Саня даже вела на отдельном листочке запись, сколько она выпила, чтобы не отравиться. Выпьет таблетку и сразу ставит крестик. И вот, когда баб-Саню увезли в морг, мама стала собирать ее постель и под подушкой нашла «календарик одоленя». Три графы с понедельника до среды никаких записей не содержали, а на четверге вместо крестиков было написано крупно, корявыми печатными буквами: «НАЧАЛОСЬ».

Прошло немного времени, и я вдруг стала бояться, что больше не буду ходить к тете Любе. А ведь там все баб-Санины вещи, книги, изогнутый диванчик. Валерик, тетилюбин сын, недавно женился. Его жена тоже была балериной, танцевала в Большом театре, и звали ее Гортензия Ивановна Калачева, или просто Го́ра. Гора ездила за границу, и Валерик просил ее привозить что-то всем нам.

И вот однажды мы были у них после очередного Гориного возвращения. Я разглядывала пестрые открытки и кошельки в маленькой комнате. Туда вошла Гора и ее подруга. Гора вытащила из огромного чемодана красное платье, и подруга, раздевшись, стала натягивать платье на себя. Оно ей было явно узко, она с трудом его стянула и ухватила кофту, привезенную моей маме.

– А это можно? – спросила она.

– Нет, это Валеркиной тете, – ответила Гора.

– Ничего себе, даже таким дальним везешь?

– Приходится. Много нахлебников-то этих развелось.

Они вышли. Потом я сказала маме, что больше в день приезда Горы к баб-Сане нам лучше не ходить.

И вот теперь я часто вспоминала этот случай, и мне становилось совсем грустно и ясно, что тети Любы и того дома мне больше не видать.

Но я была не права. И после баб-Саниной смерти меня продолжали возить к тете Любе мыться. Одно время я там даже жила. Тогда, кстати, произошла одна история, тоже отчасти связанная с Горой. Это была история первой совершенной мной кражи.

Гора привезла из Америки огромный карандаш. На нем был изображен самый высокий в Нью-Йорке небоскреб – целых 102 этажа. Гору даже водили на смотровую площадку, на самый верх. И оттуда виднелись все дома, все улицы, все мосты и даже почти весь океан. Кончался карандаш чудесным розовым ластиком, вокруг которого был обмотан шелковый шнурок с кисточкой.

Я училась тогда в английской школе. Родители моих одноклассников часто ездили за границу. И у многих была красивая одежда, красивые ручки и красивые мягкие ластики. Мне тоже хотелось иметь что-нибудь особенное. Выбрав момент, когда дома никого не осталось, я вынула ластик, отрезала кружочек и засунула отрезанной стороной внутрь.

В школе я сказала, что мне привезли этот ластик из-за границы. Все были заинтригованы, почему он такой маленький и такой странной формы. Стирал он, к счастью, хорошо.

У тети Любы никто не заметил пропажи, и я снова отрезала маленький кружок от большого ластика. И положила его в карман пальто. И пошла в кухню. Когда я вернулась, тетя Люба штопала Валерины носки, а рядом с катушкой, на столе, лежал нежно-розовый кружочек ластика.

У меня подкосились ноги.

– А Горка мне и говорит: ластик кто-то отрезает. Я сказала, быть такого не может. А он, оказывается, у тебя. Хотела карман тебе зашить, нашла.

И ни слова больше, ни разу. Милая моя тетя Люба!

… Ничто в тетилюбином доме не напоминало о смерти баб-Сани. Не было только самой баб-Сани. Зато она часто снилась мне. То мы смотрели вместе телевизор, старенький телевизор с огромной круглой линзой, наполненной водой. Или просто разговаривали о чем-нибудь. Она сидела на своем изогнутом диванчике и терла полотенцем только что вымытые руки. Баб-Саня всегда очень основательно вытирала руки, чтоб не было цыпок, а потом еще смазывала жирным кремом.

А как-то мне приснилось, что я иду по улице и кто-то окликает меня. Я поворачиваю голову и вижу, что из окна небольшого деревянного домика высовывается баб-Саня. Он стоял прямо напротив ее настоящего дома. Баб-Саня улыбается. Я подхожу ближе и вижу, что в руке она держит большой кусок торта «Наполеон».

В колонии для беспризорников, или Еще из воспоминаний бабушки Сани

«…С 1 сентября начиналась школа. Записалось ко мне двести ребят. Школа находилась в Зачатьевском переулке, рядом с Остоженкой. Кроме меня такие были учителя: студент медицинского факультета, студентка Строгановского художественного училища, две совсем юные учительницы и одна уже со стажем.

Шел 1918 год. Дров нам выдавали мало, так что в классах часто сидели в пальто (у кого оно было) или в материнских кофтах. Так начались занятия.

Ребят распределили по классам сообразно не возрасту, а уровню знаний. И хотя учителя понимали, как в таких условиях необходима дисциплина, не всем удавалось наладить ее. Вбегают как-то ко мне в класс ребята и просят:

– Александра Петровна, зайдите к нам в 3«Б»! Надежда Ивановна плачет, в нее Приходин бросил шарик с чернилами.

Я прошу свою группу тихонько списывать с книги упражнение и иду успокаивать 3«Б». Учительница отправляется мыться и приводить себя в порядок. Ребятам я велю явиться завтра с родителями. И если хулиганство не прекратится, обещаю распустить группу. Родители много помогали нам тогда.

Кругом свирепствовал сыпной тиф. Ребята спозаранок выходили встречать меня на Остоженку. Издали увидев, орава бросается ко мне с криками: «Красные валенки! Красные валенки!» Мне удалось в ту зиму достать красные валенки, и по ним ребята узнавали меня. Все старались найти, за что бы уцепиться: кто за руку, кто за портфель, кто за пальто. Дорогой наперебой рассказывали:

– У меня мамку увезли в больницу.

– У меня – брата и Аксютку Иванову.

Из районной столовой ежедневно получали на каждого ученика завтрак: двести грамм хлеба и пшенной кашицы. Так как каждый день кого-то увозили в больницу, оставшиеся порции делили между всеми. И хотя родители помогали при раздаче, у сторожа постоянно обнаруживались припрятанные порции.

Сначала тифом заболела молоденькая учительница. Как только она выздоровела, заболел и умер студент-медик. А был просто богатырь.

Дети ласкались ко мне, особенно девочки из младших классов, и я со дня на день ждала тифа. Знакомый врач

посоветовал мне дома мыться. Как прихожу из школы – сразу в ванную. Просматриваю вещи: нет ли паразитов. Мыться приходилось холодной водой: топлива едва хватало на комнату, где жили и взрослые и дети. А детей у меня было один свой и пятеро сирот от умершей сестры мужа. Белье на всех стирала ночью в чуть теплой воде, до семи утра. В семь часов ополоснусь холодной водицей, выпью чашку морковного чая и – в школу.

Я забеременела второй раз и 16 ноября 1921 года родила вторую девочку. Пришлось уволиться с работы. В этот почти непереносимый момент нас очень поддержали посылки из Америки (их называли АРовские). Получаю однажды повестку явиться за продовольственной посылкой. Там выдали 20 килограмм пшеничной муки, 10 килограмм шпигу, 10 банок сгущенки, 10 килограмм рису, 10 килограмм сахару. Кажется, не перепутала, но если что забыла, можно простить. Да, еще пять банок какао. Это было такой поддержкой для нас!

К тому же открылись АРовские столовые для детей. Там давали большие порции риса и какао со сгущенным молоком. Вскоре из профсоюза на меня и на мужа выдали по мешку муки: мешок ржаной, мешок пшеничной – крупного помолу. Так что после рождения второго ребенка я смогла уйти с работы и полностью заняться домом.

Когда младшей дочке, Ляле, исполнилось пять лет, я твердо решила снова идти работать. За прошедшие годы нужда наша только усилилась. Муж зарабатывал слишком мало для огромной семьи. В то время была безработица и вышло постановление: кто не работал два года, терял профсоюз, а не членов профсоюза на обычную работу не принимали. Я не работала уже четыре года и теперь должна была поступить туда, куда никто не хотел идти.

Такую работу мне мог предоставить лагерь беспризорных. В них постоянно требовались воспитательницы. Сестра моя, жившая тогда в Подольске, справилась в местном Отделе народного образования, где ей ответили, что есть место воспитательницы в Мещерском детском доме. Не раздумывая, отправилась я в Подольск.

Заведующий Отделом народного образования Бородкин повез меня на лошади в Мещерское. Был март, начиналась ростепель, но сани еще проходили по лесной дороге.

Когда мы подъехали к зданию детдома, толпа ребят всех возрастов облепила нас. Все были грязные, в рваных серых пальтишках, дырявых сапогах и таких же кепочках. Из дома вышел мужчина в форме милиционера, и, как мне показалось, с револьвером у пояса. Был он средних лет, рыжий, с бородкой. Он и оказался заведующим.

Двухэтажное здание утопало в мусоре и навозе, которые сейчас были покрыты тонкой ледяной корочкой и по крайней мере не смердили. Заведующий провел нас в свою квартиру. Там мы нашли его старушку-мать, жену и двоих тщедушных бледных детей лет семи-восьми.

Бородкин потребовал, чтобы Николай Васильевич (так звали заведующего) без утайки рассказал, что случилось в Мещерском неделю назад.

Молодая учительница приехала в детдом. Ребята невзлюбили ее, стали ей грубить. Ребят здесь было 75 человек от двенадцати до двадцати двух лет. Воспитательница решила их наказывать: лишала кино (в которое пускали по десять человек и то изредка), заставляла носить по сорок охапок дров на второй этаж, где располагалась кухня. Эти наказания были ребятам знакомы, но учительницу они просто возненавидели.

И вот однажды ребята подстерегли ее вечером, свалили с ног и ужасно избили. Пока одни били, другие разграбили ее комнату. На шум прибежал Николай Васильевич и закричал, что будет стрелять, если все не разойдутся. Полумертвую воспитательницу увезли в Подольск. Вещей ее найти так и не удалось.

На ее-то место я поступала.

После рассказа заведующего я потребовала, чтобы ребятам объявили, будто прислана я из Москвы, и если они не станут слушаться, их зашлют на трудработы. Николая Васильевича я предупредила, что неделю буду не дежурить, а только знакомиться с ребятами.

Вернувшись в Москву, я собрала вещи, взяла Лялечку и переехала в детдом. Мне дали хорошую светлую комнату. Там было три кровати – две для нас и одна для мужа. Леонид обещал приезжать из Москвы каждую субботу.

Поначалу знакомиться со мной приходили самые взрослые. Лялю я брала с собой, хотела, чтобы ребята сразу к ней привыкли. Правда, Николай Васильевич говорил мне:

– Дочку напрасно взяли. Мои вон два года дома сидят. Как выйдут на улицу, ребята закидывают их камнями.

Беседы с воспитанниками я начинала с вопроса, почему по ним ползают вши. Ребята взрослые, а в чистоте себя содержать не могут, бани, что ли, нет? Не в том дело, баня есть и очень хорошая. Но из мытья ничего не получается, кроме хулиганства: кто первый захватит, тот моется, пока не истратит все отпущенное мыло и не выхлещет всю воду. К тому же, что мыться-то, если белья всем не хватает. На вопрос, почему прогуливают школу, ответили: нет обуви, и стали показывать свои дырявые опорки.

Когда со всеми переговорила, собрала в зале и сказала:

– От вас зависит все. Приведете себя в порядок, приведите после себя баню в божеский вид, чтобы и мы могли помыться. Чистым бельем и обувью постараемся вас обеспечить. Пора мыть здание: вон все панели матерщиной исписаны. К вам не то что кино пригласить, ни один порядочный человек не зайдет – побрезгает. Картины хорошие в кладовке пылятся – повесим. Вкатим рояль с чердака, танцы по вечерам будут.

Тут же выяснилось, что есть девочка, которая поет и играет.

– В зал проведем радио, чтобы слушать всем вместе интересные передачи, – продолжала я. – А для начала устроим праздник.

Когда я спросила, какого угощения хотели бы ребята, все признались, что давно мечтают о белых булочках, колбасе, конфетах. Не мешкая, я уговорила Николая Васильевича ехать в Подольск. В отделе народного образования ему ни в чем не отказали.

Через день все панели в детдоме были вычищены, развешаны картины. Но ребята с хитрецой заглядывали мне в глаза.

– А как вы нас наказывать будете, если кто схулиганит?

Я заявила, что наказания у нас отменяются, потому что ребята, наверное, и сами понимают, что всякий беспорядок будут расхлебывать сами, и назначила ответственных на каждую группу.

Под Пасху решили устроить комсомольскую субботу. Ребята, все чистые, в новых ситцевых рубашках, в черных шароварах, в блестящих сапогах, вели себя очень чинно. Шутили, что даже спать будут в новеньких кепках.

В зале составили столы, покрыли их чистыми простынями. Посередине стола, на громадном подносе – трехведерный самовар, вокруг – кружки. Девочки помогали разливать чай и обносили ребят. В дверях, перебросив через руку полотенца, появились старшие с подносами. На подносах порции: колбаса, булочка и конфеты; Николай Васильевич очень волновался и все твердил:

– Набросятся ведь и разграбят.

Но ничего подобного. Ребята очень скромно и степенно брали свою порцию и еще подсказывали другим:

– Ким, ты не все конфеты забрал, вот эти две тоже твои.

В этот день приехал Леонид с фотоаппаратом – он недурно снимал. Сначала сфотографировал каждого в отдельности, потом всех вместе, с воспитателями, кухаркой, прачкой. Ребята просто замирали, когда Леонид говорил громко:

– Спокойно. Снимаю.

К этому времени в зал уже подвели радио. И когда заиграла музыка, ребята вздрогнули от неожиданности.

Все прошло чудесно. Николай Васильевич заявил, что я настоящий гипнотизер.

Через пару дней было объявлено, что по радио начнется трансляция оперы «Евгений Онегин». Накануне в здании погас свет, и Николай Васильевич увидел в этом злой умысел:

– Ребята подрезают провода, чтобы устраивать «темную». Распарывают в спальне подушки, выпускают пух, накрывают кого-нибудь одеялом и избивают до смерти.

Я не поверила, и когда ребята ужинали, обещала прийти в спальню, чтобы рассказать содержание оперы, которую назавтра мы услышим по радио. Петь будут артисты в Москве, в Большом театре.

Света все не было. Я взяла семилинейную керосиновую лампу – на ней я грела щипцы для завивки волос – и тихонько пошла вниз, в спальни. Прихожу, все лежат в полной тишине. Спальня мальчиков занимала два зала, соединенных аркой. Я встала под аркой так, чтобы видеть оба зала и начала рассказывать. Ребята слушали как завороженные. Я думала, что младшенькие скоро заснут, но вижу, стриженые головки поднимаются, чтобы лучше слушать. Я рассказала ребятам о самом Пушкине и о его романе. Особенно их заинтересовали дуэли. Пришлось рассказать об этом подробнее. В общем, задержалась я у них здорово, а надо было еще идти в спальню девочек.

Стучу тихонько в дверь. Тишина, потом топот.

– Девочки, это я, Александра Петровна.

Начинается возня. Наконец, я могу войти. Девочки сознались, что заставили дверь тумбочками и кроватями. Они ждали, что вот-вот ребята придут их бить и грабить; боялись спать, прислушивались. Я их успокоила и кратко пересказала «Е.О.». Было уже поздно, и, пожелав девочкам спокойной ночи, я пошла к себе наверх.

На лестнице слышу мужские голоса, в лицо мне ударяет электрическим светом. Николай Васильевич и преподаватель ремесел стоят с пистолетами:

– А мы уж решили, что ребята вас убили. Такая тишина и вас нет.

На следующий день ребята ужинали раньше обычного. Каждый вечер я лечила им глаза, и теперь надо было успеть до передачи. Перед моей комнатой выстраивалась очередь, и я пускала им глазные капли. У многих были воспаленные веки и сильный зуд. После капель зуд прекращался. Поэтому все поверили в лечение и являлись регулярно. В этот вечер я быстро

всех приняла, и мы устроились в зале.

Перед каждым действием передавали содержание, так что ребятам все было понятно. Я разрешала им сидеть на лавках с ногами. Все слушали напряженно. Николай Васильевич слушал с нами и пенял мне после, почему я не пригласила его детей.

Так начались наши литературно-музыкальные вечера. Иногда, в плохую погоду, ребята просили мою Лялечку почитать им что-нибудь. Я захватила из Москвы несколько книг. Особенно нравился детям «Хаджи Мурат».

Я их корила тем, что Лялечке всего пять лет, а читает она лучше них. Ребята звали ее на воровском жаргоне «Зу́бовская», что означает «маленькая, хорошенькая». Она была действительно хороша: полненькая, с прекрасным цветом лица, курчавыми волосами и темными смышлеными глазками.

Когда настала весна, я решила убрать навоз перед домом и разбить клумбу с цветами. Ребята воодушевились этой мыслью и деятельно принялись за работу. Утащили весь мусор, вскопали землю, принесли чернозема. Клумбу окантовали кирпичом, уголками вверх. Все работали, и моя Ляля вместе с девочками подтаскивала кирпичи.

На подоконнике открытого окна первого этажа сидел мальчик лет двенадцати. Он был убогим: ему ампутировали одну ногу. Мальчик этот редкой нежной красоты, имел чудесный звонкий голос и, глядя на работу ребят, пел свою любимую песенку:

Хорошо тому живется,
У кого одна нога —
Много обуви не рвется
И порточина одна…

Вдруг песенка оборвалась. Афонин (его фамилия) закричал мне:

– Александра Петровна! Что ж это вы за нами смотрите, а не видите, какие Зубовская кирпичи таскает. Вот уронит на ногу и будет хромая. – Забота мальчика тронула меня. Значит, моя Ляля им не чужая.

На следующий день заведующий привез из Подольска ящик высадков: георгины, табак, левкой, астры. Наш муравейник снова заработал. Кто лунки для цветов делал, кто воду натаскивал, кто сажал. И все лето цвели и благоухали наши цветы. Ни одного цветка с клумбы сорвано не было, ребята зорко за этим следили.

Около клумбы в тенечке расставили столы с лавками; за ними я занималась со старшими чтением и письмом: готовились к поступлению в ФЗУ и ФЗО, кто куда в зависимости от возраста.

Но чтобы поступить учиться, необходимо было пройти в Москве профотбор и, главное, установить возраст. Никто из ребят не знал точно, сколько им лет. Возраст мог установить только врач. Когда был назначен день осмотра, заведующий сказал мне:

– Александра, вези ты. Ты и Москву знаешь, и ребят – без тебя ведь разбегутся.

Первая партия в 17 человек отправилась в Москву душным летним днем. Осмотр тянулся долго. Ребята измучились, проголодались. Что делать? Звоню сестре Марусе. У нее большая отдельная квартира. Объясняю, что со мной семнадцать человек взрослых беспризорников. Прошу пустить нас чаю попить. Она чуть не в обморок:

– Да они же всю квартиру разгромят!

Я ей:

– Обещаю, будут себя держать, как воспитанные и благонамеренные дети.

Смеется. Соглашается вскипятить трехведерный самовар, ну, а хлеба, сахара, колбасы мы купим по дороге сами.

С ребятами я договорилась, чтобы держали себя как джентльмены. Дали слово. Двинулись. Звоним в дверь. Маруся открывает. Вижу, бледнеет моя Маруся и опять чуть не в обморок. Однако смело ввожу свою армию. Сразу приглашаю к столу. Маруся, очухавшись, предлагает умыться после уличной духоты. Ребята очень солидно, не спеша, переумывались и стали усаживаться за стол.

Окна открыты, в комнате прохладно. Тут уж Маруся оправилась окончательно и стала хлебосольной хозяйкой. Нарезала ворох белого хлеба, колбасы. Каждому подала стакан чая. Я ребятам морганула, чтоб за чай тут же говорили: «благодарю». Вижу, ребята мои сразу завоевали симпатию Маруси и расстались с нею друзьями».

Потери

В Детскую я приехала после большого перерыва, уже почти взрослой. Весна, и в поселке пусто. Но вот далеко впереди, у околицы, показался человек, за ним еще и еще. Наверное, пришла электричка. Люди приближаются ко мне, наши соседи. Мне кажется, что узнать меня невозможно, и я здороваюсь неуверенно и жду в ответ удивленный взгляд.

До смешного все-таки трудно отвыкнуть от детских привычек. Со мной поравнялся дед Лены, одной из бывших подружек. Он сам, к моему удивлению, останавливается, чтобы со мной раскланяться, и я, не удержавшись, спрашиваю:

– Вы не знаете, Лена завтра приедет?

Я забыла, как зовут деда, и не знаю, как сама Лена сейчас выглядит. Может, нам с ней не о чем будет говорить и обеим станет жалко потерянного времени. Но я спрашиваю очень вежливо, заискивающе и так жду ответа, как будто от него зависит мой завтрашний день. Лена, кажется, не собиралась.

Я хочу выйти в поле, к речке, но калитка заколочена. И я снова бреду по поселку. Мне вспоминается, что именно у этой Лены я спасалась однажды от родительского гнева.

А все из-за Иммы Сумак.

Приехала в Москву латиноамериканская певица, и мои родители пошли на ее концерт. На концерте они купили программку, в которой было много фотографий Иммы. Программку эту привезли на дачу, чтобы отдать мне. Я изучала ее не один день, ознакомила с Сумак Лену, Марину и Наташу. Сумак была прекрасна. Особенно на алой фотографии крупным планом, на обложке. И тут я о себе возомнила.

Полные губы были и у меня, и густые волосы, и высокий лоб, и даже глаза с поволокой. Но ресницы мои равномерно загибались вверх. У Сумак же они, совсем коротенькие у носа, месяцем вырезанные, от виска уходили в бесконечность. Не радовали и брови. Мои оказались куда длиннее и начинались почти от переносицы. Необходимо было исправить положение.

На даче нашелся огрызок зеркала и огромные ржавые ножницы, которыми баб-Саня срезала с клумбы цветы.

Когда с ресницами и левой бровью было покончено, меня позвала зачем-то Нюра, так что дальнейшую операцию пришлось отложить.

Первым заметил перемену папа. Произошло это утром следующего дня, за завтраком.

– Ты что? – почти выкрикнул он, уронив вилку. И замолчал,

уставился на меня.

Я разревелась. Заподозрив самое страшное – еще незнакомые побои – я выскочила из-за стола и понеслась к Ленке.

Ленина семья проявила горячую заинтересованность. Они дважды просили меня пересказывать подробности. Ленина мама была художницей, и ее моя повесть рассмешила больше всех. Она мне сказала, что у Сумак ресницы не свои, а наклеенные.

Когда я вернулась домой, мама все еще кричала. Я совсем не была уверена, что она прерывалась хоть на минуту после моего побега. Бить меня не стали.

Только баб-Саня почему-то была заплаканная. Она позвала меня к себе в комнату и долго объясняла, что ресницы охраняют глаза от пыли и что больше всего на свете надо беречь то, что у тебя уже есть, а не просить себе нового. Новое бывает платье, а глаза, руки, губы не поменяешь. Волосы можно выкрасить, но краска смывается. Почему-то баб-Саня боялась, что ресницы у меня больше не вырастут.

Страхи ее оказались напрасны: не прошло года, как на прежнем месте выросли более длинные, но менее густые ресницы. Вот с бровью обстоит хуже; сколько я ни мажу ее касторовым маслом, как советуют косметические справочники, сколько ни приглаживаю, она все топорщится щеточкой к носу. Наверное, так мне с нею никогда не сладить. Иногда я жалею, что не успела укоротить вторую бровь, было бы хоть равномерно.

После того разговора с баб-Саней я почему-то стала испытывать отвращение к отрезанным волосам, ногтям, выпавшим зубам.

И все-таки меня постригли.

Это произошло летом, через год после того, как на маленькой концертной программке я увидела чу́дное лицо Иммы Сумак. Стрижка эта была второй в моей жизни.

Первую я пережила в три года. Мы поехали гулять за город и вдруг, не помню как, я обнаружила себя в кресле перед зеркалом. Еще в зеркале отражался человек в белом халате с блестящей игрушкой в руке.

Он властно вертел мою голову из стороны в сторону, потом вопросительно взглянул на папу. Тот сказал:

– Покороче и с челочкой.

Я поняла все и заревела. Наверное, я так громко и противно ревела, что дядьке с бритвой надоело слушать, и он побыстрее обрил меня наголо. Одним движением провел машинкой от уха до уха. Мама подобрала с пола мой жидкий локон и завернула его в бумажку. Это меня немного утешило, но всю обратную дорогу я всхлипывала и спрашивала родителей:

– Ну почему же совсем ничего не осталось?

А они не знали, что отвечать, потому что были в этом почти не виноваты. Ведь папа же просил с челочкой.

Волосы выросли густые и более темные, зато от локонов осталось лишь воспоминание да завиток в бумажке.

Второй раз меня стригли уже с моего согласия.

Косы мои были не очень длинные, но толстые, и каждое утро мама плела их, опаздывая на работу. Плела она их туго и больно. Я прочитала в какой-то книжке, что русские девушки падали в обморок от того, что им туго плели косы. Если бы мои отросли подлиннее, я бы тоже, наверное, упала.

Тем летом тетя Люба согласилась поехать со мной к Черному морю, но поставила одно условие: не мыть, не чесать, не плести длинные волосы. У нее в детстве были косы ниже колен, но, став балериной, она их без сожаления отрезала.

И вот мы снова в парикмахерской. Я сажусь в кресло, и тут тетенька в халате, злобно поглядывая в тетилюбину сторону, начинает причитать надо мной. Она любовно гладит, расчесывает мои распущенные волосы. Я вижу в зеркале, как солнце золотит их, а тетенька оплакивает.

– И не жалко вам? Да вы посмотрите, что за богатство. Да мне бы такие волосы, может, вся жизнь бы другая была.

Но тетя Люба непреклонна. И мне делают стрижку «под польку».

Я прихожу домой и закрываюсь в нашей комнате. Оглядываю себя в два зеркала: одно против другого. И вижу я, что сзади парикмахерша оставила такой острячок: волосы сходятся мысиком в середине шеи. Мне кажется, что это непорядок. Я беру ножницы и отрезаю сосульку.

Вечером мы пошли к баб-Сане показывать стрижку. Она с самого начала была против, но теперь нашла, что постригли удачно. Попросила меня повернуться. Я повернулась, а баб-Саня закричала:

– Ах, ты, халтурщики какие! Куда ты смотрела, Люба? У Ольги сзади лесенка. Настоящая лесенка! Уродство!

Я покраснела до кончика самого длинного волоса, который еще остался на моей стриженой голове. И промолчала.

«Я иду по Кабардинке…»

Тогда наша поездка на Черное море так и не состоялась: тете Любе не дали в нужном месяце отпуск на работе. Но через два года мы все же поехали – для меня впервые. Друзья мамы из Саратовского университета написали ей, что есть места в их летнем пансионате под Новороссийском, как и в прошлый раз, на неходовой июнь, когда в университете сессия. А раз тетя Люба еще два года назад согласилась, то и думать было нечего.

Мы загрузились в поезд, и я полезла на верхнюю полку, откуда, по-моему, слезала лишь пару раз за сутки. Я очень люблю дорогу. Говорят, мой прапрадед был наполовину цыганенком, а вырос в мужском монастыре, его подкинули к воротам в рваных пеленках. Действительно, и мама, и тетя Люба, хотя очень разные, похожи на цыганок. И может, это от него: когда я в дороге и меня никто не слышит, я пою свои песни и сочиняю музыку, которую мне никогда не сыграть.

В четвертом классе я ушла из музыкальной школы, поссорившись с училкой по сольфеджио. Виновата была я – мне было скучно на уроках и я нещадно прогуливала. Но и она оказалась не промах: предупредила, что на годовом экзамене мне больше двойки не видать. По ее и вышло. Тут переезд подоспел из наших «царских палат» в двушку на Юго-Западе. Пианино туда не влезало, хоть места было больше: родители купили наконец хорошую новую мебель – легкий финский гарнитур, который прослужил им до конца дней. А старую – с бору да сосенок – отвезли на достроенную в том же году дачу. Вот и получалось, что играть на пианино мне больше не судьба. Про другие инструменты я не задумывалась, и очень сейчас об этом жалею. Все утешала себя: еще есть время – научусь. Только времени-то пока не нашлось.

Так вот, про дорогу я всегда думала, что это и есть моя настоящая жизнь. То, что было, прошло, а новое еще не наступило. И вот еду я на своей верхней полке, окно открыто, оттуда несет каким-то мерзким резиновым духом, но у меня голова кружится от свободы и я пою в открытое окно. Внизу тетя Люба о чем-то беседует с соседями по купе, и никому до меня дела нет.

Чем ближе к Новороссийску, тем больше приносят к поезду на продажу черешни, клубники, вареной картошки, пересыпанной укропом, – все ведрами – и домашних пирожков. Мы покупаем только клубнику, от черешни у меня болит живот, а другая еда непонятно, какими руками делается. Так тетя Люба сказала. Тем

более что у нас еще не доедена своя, московская курица, та же картошка – только «в мундире», и крутые яйца.

Тетя Люба боится, что ночью я свалюсь с верхней полки, потому что я много ворочаюсь и вообще неспокойно сплю. Но вот ночь прошла, выпит обжигающий чай, который разносит проводница. Скоро Новороссийск. На станции нас должен забрать автобус из Дома отдыха «Кабардинка».

Едем по извилистому шоссе в сторону Геленджика. Справа, слепя, мелькает море,

Слева невысокие горы, поросшие кустарником. Это и есть Северный Кавказ. Кажется каким-то домашним, не величественным. Кабардинка – это греческое село, в середине которого расположен большой дом отдыха с корпусами, похожими на дворцы пионеров. По его краю и пристроился пансионат Саратовского университета. Маленькие фанерные домики, где едва помещаются две кровати и крохотная тумбочка. Вещи так и оставляем в чемодане, загнанном под кровать.

Едим мы в общей огромной столовой в две смены, туалетом нам служит цементный домик с дырками в полу, а умывальником – вереница кранов над длинным корытом-поддоном.

До моря рукой подать.

Пляж в Кабардинке покрыт крупной галькой, а морское дно – огромными и скользкими замшелыми камнями. В море так просто не войдешь. Поэтому кто умеет нырять, сигает в воду с вышки, устроенной на мостках, я же толком и плавать-то не умею. По острым камешкам, вымазанным шматками мазута от проплывающих мимо кораблей, балансирую к воде и шлепаюсь в нее почти сходу – глубина у берега по горлышко, вода чистая и еще непрогретая. Но главная неприятность – не галька и не мазут, а бесчисленные медузы. Они не жгут, но плавать в их противном желе нравится только тете Любе: она вообще обожает Черное море и готова ради него терпеть любые неудобства.

Скоро у меня появляются две подружки. Они постарше – обеим четырнадцать лет. Между собой они не знакомы и совсем разные. Ирка почти что местная – из Краснодара. Она большая, стриженная, с низким хрипловатым голосом. Живет в доме отдыха с какой-то подругой матери. Ирка говорит, что умеет целоваться по-настоящему и даже предлагает научить, только мне как-то неудобно, и я отказываюсь. У нее дома есть парень, но в Кабардинке она тоже исправно ходит на танцы по субботам. Их устраивают на открытой площадке перед главным корпусом, и верховодит там наш массовик-затейник по имени Лия. Она крашеная блондинка, очень разговорчивая, тетя Люба говорит, что на ней «негде пробу ставить». Я не совсем понимаю, что она

имеет в виду, но с вопросами не лезу.

Вторая моя кабардинская знакомица – Наташа из Саратова. Забыла сказать, что на территории у нас есть и несколько домиков побольше – на четверых. Их называют «семейные». Вот в таком Наташа и живет. Они тут всей семьей: папа, мама и младший братишка. Наташин папа почти на голову ниже мамы и у него большой горб, даже два – на спине и на груди. Но он их как будто не замечает – ходит плавать, с детьми строгий, вообще любит распоряжаться и на всех покрикивать. Мама Наташи работает в университетской канцелярии, она полная и рыжая; я ни разу не слышала, чтобы она что-то говорила. Только ответит на мое «здравствуйте» – и все. У Наташи и у ее мамы – толстые косы – только у Наташи черная и длинная, а у ее мамы рыжая, короткая и пушистая.

Еще у Наташи тоже «есть парень», Дима, и он тут – в нашем пансионате. Они всегда ходят купаться вместе, поэтому ко мне Наташа забегает обычно после обеда. У меня на Наташу были планы: хотелось познакомиться с друзьями Димы. Но однажды Наташа мне сказала: «Ребята говорят, что ты симпатичная, но еще маленькая». Так что пришлось с планами распрощаться.

В доме отдыха живет много мужчин из Грузии. Один, немолодой, из соседнего с нашим пансионатом корпуса, потрясает своими усами – я никогда не видела таких в жизни, разве что на картинках в библиотеке у баб-Сани. В каком-то французском романе. По вечерам он обычно растягивается на лавке около входа, положив голову на колени женщине редкой красоты и примерно его лет. Она полная, хотя с очень заметной талией, черноволосая с огромными синими глазами, точеным носом и молочно-белой кожей. Ее тугая черная коса закручена в низкий пучок; она сидит очень прямо, обычно молча смотрит на море, поглаживая усатого мужчину по волосам. Думаю, у нее такая хорошая осанка, потому что этот рулон из косы не дает наклонить голову.

Развлечений у нас немного. Иногда кино, как правило, индийские. Я на них плачу, а вообще-то они мне не нравятся. На танцы меня тетя Люба не пускает, там, ей сказали, бывает поножовщина. К тому же я, как известно, еще маленькая. Зато перед сном можно послушать, как воют в горах шакалы, и еще иногда мы ездим на экскурсии.

Самая хорошая была на озеро Абрау-Дюрсо. Нам давали пробовать вкусное шампанское разных цветов. Мне больше всего понравилось красное. Но главное было не это – главным было озеро. После мазутного холодного моря мы погрузились в мутно-зеленую почти горячую воду. Ничего подобного я раньше не

испытывала и, если бы не призыв Лии садиться в автобус, я бы из этой воды не вылезала.

Три недели подошли к концу. Ирка уехала в свой Краснодар раньше, Наташе с нами не по пути. Однако на вокзале выясняется, что до Москвы едет немало народу, тоже из нашего пансионата. И оказывается, у них сколотилась такая московская компания: они вместе поднимались в горы, вместе ездили по разным местам, вместе ходили купаться – обычно на дальние пляжи. Потому я их всех и не видела.

Они сочинили гимн Кабардинки и весело распевали его на вокзале на мотив популярной тогда песенки «Я иду по Уругваю»:

Я иду по Кабардинке,
Тьма хоть выколи глаза,
Слышны крики дикой Лии
И шакальи голоса…

Что там дальше – забыла.

Рассаживаемся по купе. С нами пара с ребенком лет пяти. Они тоже из этой московской компании, но постарше других. Отец мальчика работает в институте, где и подруга моей мамы. Жена его симпатичная, черноволосая, с чуть обломанным передним зубом, вокруг нее ореолом приятный запах некрепкого табака. Забираюсь, как водится, на верхнюю полку, но ложусь лицом к двери – чтобы удобнее было разговаривать. Мы с соседкой в купе вдвоем. Она начинает переодеваться в дорожную одежду. Спрашивает меня, читала ли я новый роман – потрясающий, его сейчас вся модная молодежь читает. Называется «Мастер и Маргарита». Я не читала и даже не слышала.

А через минуту я испытываю шок. Соседка сняла диковинный черный лифчик с кружевом – я таких красивых никогда не видела – и на меня в упор уставилась ее грудь. У нас много лет не было собственной ванной, и если меня не возили мыться к бабушке, а после ее смерти – к тете Любе, мы ходили в Чернышевские бани, как раз через дорогу от нашего дома. Там я видела много старых и молодых голых женщин. Но такого я не видела никогда: ее грудь с крупными темными сосками была большая и она стояла. Глядящими чуть в разные стороны вытянутыми смуглыми минаретами. Сравнила я, может, и плохо, потому что груди были живые, а не оштукатуренные, но не знаю, с чем еще сопоставить их – гладкие, вытянутые и какие-то стройные – с крупными навершиями сосков.

Оправившись от удара, я подумала: идешь ты, к примеру, по

улице, а тебе навстречу обычный человек – красавицей соседку было не назвать – одет во что-то не особо интересное. А под его одеждой таятся чудеса.

Туся

В год смерти баб-Сани я познакомилась с единственной своей настоящей подругой Татьяной – Тусей.

Есть вещи, о которых если расскажешь, тем, кто слушал, станет непонятно: и зачем им это рассказали? И что в этом интересного? Ничего: отвечу я. Ничего нет в этом интересного, а рассказать тянет. Бывает так и с людьми. Никто понять не может, что Петя нашел в Косте, а Маша – в Наташе. А они расстаться не могут, все вместе да вместе. И не надоест.

Так было у нас с Тусей. Ее родители и приятели спрашивали:

– Что это за Оля? Серая лошадка. Что у тебя с ней может быть общего?

Мои родители и знакомые говорили мне:

– Что это за Таня у тебя появилась? Мрачная какая-то.

А мы все равно были вместе.

До Туси постоянного друга у меня не было. В доме на улице Станкевича жила, правда, чернявая девочка Люда, но она не была мне другом. Мы иногда гуляли вместе, но с ней было скучно. Кроме того, она любила драться: кусалась, царапалась, дергала за волосы. Людка была старше меня на год, так что общие производственные интересы тоже отсутствовали. К ней приходили подружки, они прыгали через веревочку, играли в фантики, но я была не при чем. Не звали, сама не просилась, да и не умела попросту.

В школе ни с кем из девочек я тоже близко не сошлась. Правда, была пара мальчиков, с которыми я гуляла или болтала по телефону, но отношения с ними установились какие-то не дружеские. Я сразу начинала стесняться и не знала, как себя с ними вести. И потом они почему-то вызывали у меня чувство жалости. Хотя ничего жалкого в них не было.

Не дружила я и с родителями. Мы настолько редко виделись, что были просто не очень хорошо знакомы. Оба они очень любили свою работу, и работа, наверное, очень любила их. Потому что были такие дни, когда я вообще не видела ни папу, ни маму, только утром, сквозь сон слышала их голоса.

Иногда, в случаях исключительных – чаще во время праздников – мама стремительно и без обиняков принималась за мое воспитание. Обычно эти мероприятия кончались моими слезами и маминым криком. Но все-таки о мамином характере мне многое было известно. Хотя бы из рассказов баб-Сани.

С отцом же я встречалась куда реже. В основном это происходило вечером, перед сном. Папа приходил домой,

протирал бархоткой запотевшие очки и говорил: «Иди спать, Ольгусь».

До сих пор о папе я почти ничего не знаю. Знаю только, что у него девять ранений после войны и стенокардия, что он любит Рабле и Джека Лондона, а также английского художника Тернера.

Правда, совсем недавно и у мамы, и у папы были большие дни рождений. Их отмечали на работе, народу собиралось полно. И все говорили так много интересного, а мы с Витей очень внимательно слушали. И удивлялись.

Родители брали отпуска в разное время: мама говорила, что надо друг от друга отдыхать, и папа с ней соглашался. Однако как-то раз мы почему-то все вместе (правда, без Вити, у него своя семья) поехали к морю почти на все лето. И вот Витя написал нам, что у него началась язва желудка. Мама расплакалась, папа тоже был расстроен. Он посидел немножко с мамой, потом молча вышел из дома. Я понесла на задний двор помои после посуды и увидела там папу. Он стоял, засунув в карманы руки, растопырив ноги в коротеньких джинсах. И даже сбоку было видно, как у него набухла жила поперек лба.

И тут мне стало стыдно. Как будто я подглядела чужое несчастье. Я тоже до слез жалела Витю, но каждый из нас жалел его сам по себе. Ведь так просто и нормально было бы подойти, погладить папу по спине или поцеловать в щеку. Сказать ему, что язву теперь лечат и что надо будет только устроить Витю в хорошую больницу. А потом вернуться в дом, дать маме стакан воды и положить ей мокрое полотенце на лоб. Но ничего этого я не сделала. Я выплеснула помои и поскорее ушла на пляж.

Когда в детстве меня спрашивали, кого ты, девочка, больше любишь, маму или папу, я обижалась и говорила назло:

– Никого.

После я стала думать, что и вправду – никого. Но теперь-то я знаю, что очень люблю и маму и папу и всегда очень их любила, но как-то у нас не сразу все получилось.

И вот вдруг у меня появилась Туся. Смешно, но после знакомства с ней я приобрела сонм приятельниц. На меня стали лететь, как на сладкое. А я удивлялась – где же вы были раньше?

С третьего класса у нас в школе начались уроки ритмики. На этой самой ритмике я обычно разглядывала новых детей, почти ежедневно поступавших в наш класс, который к тому времени насчитывал пятьдесят три человека.

Девочка была полная, с прямыми темными волосами. Вобрав голову в плечи, она совершенно не в такт мелко семенила короткими ногами. Я пялилась на нее все занятие, так что заслужила несколько нареканий училки – отставной балерины.

На следующем уроке я сообщила соседке по парте, что в классе появилась странная особа. Но соседка ответила, что она училась с Тусей раньше и напрасно я так про нее говорю. Туся хоть и двоечница, но очень умная.

Через пару дней мы с мамой пошли в «Детский мир». Там, у прилавка, в толчее кто-то окликнул меня сорвавшимся, каким-то петушиным голосом. Я оглянулась и увидела улыбающуюся Тусину физиономию.

У нее были очень густые черные брови. Позже я прочитала в одной книжке, что обладатели широких густых бровей бывают ленивы и прожорливы. Как потом оказалось, Туся обладала этими качествами в избытке. Широкие эти брови, черные, несмотря на светлые глаза, придавали ее лицу немного суровое выражение, даже если она улыбалась.

А она щедро улыбалась, приоткрыв зубы, скованные железными пластинками.

Я все же не сразу поняла, что Туся – это Туся, и в первую минуту молча смотрела на нее. Потом перевела взгляд на женщину, стоявшую рядом с ней. Женщина была ниже Тани, усатая, с маленьким черным пучком на макушке, но с точно такими же бровями. Она тонким голосом скомандовала что-то, вроде «Ну, пойдем же». И оттащила Тусю в сторону. А я так и не успела с ней поздороваться.

На следующий день мы вместе шли к метро. Она жила на окраине, а я – у тети Любы, и часть дороги нам оказалось по пути. С тех пор мы не расставались, и так как у Тани не было телефона, она звонила мне сама либо посылала письма.

Количество наших соклассников, однако, перевалило через шестой десяток, и класс разделили на два. Мы очень просили, чтобы нас не разлучали. В день, когда зачитали новые списки, выяснилось, что Туся осталась в «А», а меня перевели в «В». Горе мое было неизбывное. Я ревела и ревела, а Туся меня утешала: я ни разу не видела, чтобы она плакала. Даже мама моя, которая решала все наши проблемы, не смогла никого уговорить: она ходила к директору и просила, чтобы нас оставили вместе.

Не прошло и года, как я заболела и в довершение всех несчастий меня положили в больницу, в то самое нервное отделение. Поскольку мы переехали на новую квартиру, стало ясно, что ездить так далеко в старую школу я не смогу. Телефона в нашей квартире не было, и единственным средством сообщения стали для нас письма. Недавно я нашла старую открыточку. Вот она:

«Милая Оля! Прости меня! Мне даже страшно тебя

просить, но я тебя не забывала. Я писала столько писем тебе, но каждый раз боялась отправить. Я писала то, что хотела сказать тебе сама. Милая Оля, уже наступило лето, и мы должны радоваться. Не надо сердиться, и вспомни обо мне только хорошо. Подробно не пишу, хочу тебя увидеть. Я надеюсь.

P.S. Я жду ответа. Всегда твоя Туся»

Да, я помню, когда это было. Я долго не получала от нее писем и готова уже была разобидеться, но вот пришла эта открытка. Я не изменила в ней ни слова. Просто переписала ее без ошибок, да расставила знаки препинания. У Туси, не в пример мне, был вполне красивый и чистый почерк, но правила орфографии и пунктуации она не уважала.

Тусина открытка нашла меня на даче: мама привезла ее из города вместе с продуктами. В ответе я предлагала день и час встречи, а Туся должна была отложить свои дела. Так у нас было заведено: если один что-то решил, другой не отказывается. Только болезнь могла помешать. Но Туся никогда не болела ничем, кроме обжорства. Ее родители не занимались хозяйством, и когда они шли в гости, Туся отъедалась за всю неделю. Ночью ей обычно бывало плохо; на следующее утро, если день был будний, ей разрешалось пропустить школу. Днем она лежала на своем дощатом топчане под старым клетчатым пледом и тихонько стонала.

Туся очень любила, чтобы ее жалели. Позже, когда у нас обеих появился наконец телефон и если родителей в такие минуты не было дома, она звонила мне и говорила:

– Оль, пожалей меня, пожалуйста.

И я жалела ее, как могла.

Открытку свою я отправила заранее, и можно было рассчитывать, что Туся устоит перед любым искушением и не объестся с вечера, даже если пойдет в гости.

Танина любовь

В первое же свидание после открытки Туся рассказала мне одну не очень веселую историю. Ту историю, из-за которой она столько времени мне не писала. Встретились мы, как обычно, в лесу. В моем. У Туси тоже был свой лес. И овраг был. И все это очень походило на наш лес и овраг: ровными рядками молодых деревьев, ручейком на дне оврага, коричневыми полевыми мышками, которых я боялась, а Туся любила.

Мы встретились, и я узнала, что Туся влюблена. Только не в мышек, конечно, а в человека по имени Володя. Не дождавшись конца занятий, в последних числах мая родители отправили Таню в Дом отдыха под Рузой. Не одну, а с маминой подругой и маленькой подругиной дочкой. Подругу звали Лора, а дочь – Маша.

В первое время все было здорово: жизнь спокойная, сытая. Через день на ужин – блины со сметаной. Дом отдыха помещался в старинной усадьбе, рядом с которой был целый каскад прудов с теплой, почти парной водой, и огромный парк. Таня любила стоять на мостике, где была устроена маленькая плотина, и глядеть на воду. Там и сям по воде расходились круги – это плескалась мелкая рыбешка, которой тут была тьма. Но была и рыба покрупнее. На лодочной станции можно было взять на прокат удочки, а на ее тыльной, обращенной к воде стене серебряным ожерельем сверкали нанизанные на леску блесны. Лора с Машей весь день проводили на небольшом песчаном пляжике и не докучали. В общем – рай, а не жизнь. Но это в первые дни.

Как-то после завтрака Туся пошла в парк. Парк был липовый и дубовый, старый и темный. И чуть не упала на что-то мягкое. Комок под ногами в высокой траве. Она его пнула, и комок развалился.

Это парень какой-то обнялся с огромной собакой. Собаку Туся раньше видела, та бегала по территории и обреталась после обеда около столовой. Парня вот не встречала, теперь – в первый раз.

Парень был красивый, как черт знает что. Лохматый, в пыли и в рваной рубашке. В первую минуту даже показался с псом на одно лицо (или на одну морду). Весь темно-желтый: желтые глаза, желтые выгоревшие волосы, желтая загорелая кожа. На груди – какой-то клычок на веревке. Тоже темно-желтый. Крабовая клешня, он сказал. Парня звали Володей. Ему почти двадцать, и пока он нигде не учится и не работает, потому что только что вернулся из-за границы, где жил с родителями: отец

Володи – дипломат. А в Италии Володя работал кем-то при посольстве. Да и неохота ему ни учиться, ни работать. Так тоже хорошо.

Сколько лет Тусе, он сразу не спросил. Сказал только, что она маленькая, но очень милая. И щелкнул по носу. И ушел, свистнув псу.

Когда Туся наутро скакала с камешка на камешек, с кочки на кочку с полотенцем и запасным купальником под мышкой на пруд, она давным-давно была влюблена по уши.

Дом отдыха был невелик и после ужина все собирались на деревянной террасе. В карты играли, слушали музыку, курили. Туся села в старую плетеную качалку. Посидела немного. Вдруг сбоку:

– Прошвырнемся?

Разумеется, да. Они пошли по аллее. Шли, шли и молчали. Медленно темнело, потянуло холодком с прудов. Володя накрыл Тусю половиной куртки, которая болталась на его плечах. Тусе прямо нехорошо стало. И напала неожиданно на нее страшная болтливость. Стала она рассказывать про школу, про меня, про своих родителей. Про то, как папа не любит ходить на службу. Про то, как маме цыганка на рынке продала на пятнадцать рублей три килограмма сухого компота и сказала, что этот удивительный компот варится без сахара. Но он оказался обыкновенным.

Тут Володя взял да и обнял Тусю за плечи. Потом к себе повернул и поцеловал. Они сели куда-то, и он ее целовал приоткрытыми губами. В щеки, в лоб, в нос, в шею. А в губы не целовал. Туся очень беспокоилась, как бы Володе не пришло случайно в голову расстегнуть ей ковбойку. У нее в последнее время на груди и на плечах – маленькие прыщики. То появляются, то исчезают. Чешутся немного. Но Володе не пришло в голову расстегнуть, к тому же стало темнеть.

Ну, в общем, так продолжалось все время, каждый вечер. А срок-то – всего двенадцать дней! О Москве Туся и думать не могла. Лора как-то странно на нее поглядывала, но не притесняла и с вопросами дурацкими не лезла. Ничего вроде женщина оказалась. Не зануда. У самой Туси тем временем глаза ни на что не глядели. Книг набрала вагон – еле донесла от автобуса – не читала, твердо решила рисовать побольше – не рисовала ни разу. Хорошо ей было, но как-то муторно.

Володя шел один в лес до обеда – тут Лора была непреклонна, и с территории Тусе уходить с кем бы то ни было запрещалось. Туся тем временем слонялась в парке, норки кротиные и холмики считала – пересчитывала. Жарко ей, под мышками мокро, и почему-то очень грустно.

Дятел стучит наверху. Тук-тук… Тук… Тук-тук-тук… Я – тут… Ты – тут… Он – тут… Тут-тут-тут…

Тусе часто казалось, будто ее кто-то окликает. Вертит головой вокруг – никого. Послышалось. Бывает так. Зовут, а – никого. После обеда они с Володей шли на пруды, выбирая самый дальний – до него отдыхающие обычно не доходили – только лодки иной раз проплывали мимо. Туся с Володей вместе купались: он учил ее плавать, гладил в воде живот и голые ноги. Она от этого раз чуть не захлебнулась. Но Володя был тогда рядом.

До конца срока оставалось всего три дня. В этот вечер они договорились по секрету от Лоры все же сбежать в лес. Чтобы попасть в него надо было всего-то отвести штакетину забора – и ты на свободе. За забором начинался старый лес с поваленными деревьями, густым кустарником, оврагами и ручьями. Тусе было страшно, даже дух захватывало.

Но до вечера дело не дошло. Сразу после завтрака Лора вдруг сказала, что надо быстро собирать вещи: у нее срочная работа – ей звонили из Москвы в Дирекцию Дома отдыха. Через пятнадцать минут на газике директора их отвезут на станцию.

В комнате Туся жила одна – вторая кровать пустовала, так что собралась быстро, без помех. Володя, как обычно, ушел гулять, свистнув пса. Так что даже адрес свой Таня оставить ему не смогла. Только теплый Машин свитер забыли впопыхах в Доме отдыха.

По такому случаю, что все собрались и даже гости, Тусина мама пожарила картошки. Представляю, что это была за картошка: сырая, но горячая, выкупанная в подсолнечном масле. Тусина мама считала, что в недожаренных продуктах лучше сохраняются витамины. Меня она тоже однажды кормила. Потом живот всю ночь пучило.

Образок

Таня совсем не менялась за все прошедшие годы, по-прежнему была пухлым и неуклюжим существом, только немного подросшим и обзаведшимся большим бюстом. Она сутулилась, стесняясь развитой груди, и смущаясь, говорила, если лопалась какая-нибудь пуговица или бретелька:

– Что делать, третий номер… – И еще глубже вжимала голову в плечи.

Мы иногда вспоминали, как в детстве, по дороге к метро, исступленно спорили, что лучше: «Оливер Твист» – ее любимая книга или «Дэвид Копперфилд» – моя любимая. Мы продолжали этот забытый разговор и смеялись, так ничего не доказав друг другу.

Я очень любила слушать, как Туся смеялась и как чихала. Она смеялась и чихала совсем тоненьким голоском, преходящим в писк, и все кончалось на пронзительное поросячье «и»:

– Чхи!

– Хи-хи-хи!

Обе мы мечтали всегда о собаке, а в идеале – о собаке и о лошади. Туся раз в неделю выгуливала соседских афганских борзых, Ганю и Машу. У Гани была голубоватая шерсть, а у Маши – розовая. У борзых родились дети, но родители Тани отказались взять щенка.

Когда щенки были совсем маленькие, похожие на лопоухих крысят с острыми кожаными хвостиками, Туся видела, что один из щенков обкакался, причем рядом с выделениями извивался длинный белый глист. Щенок заинтересованно его обнюхал, и, похоже, готовился заглотать обратно. Тут розовая Маша подскочила и, отшвырнув щенка носом, не мешкая съела глиста, чтобы не вводить ребенка в соблазн. Вот какая бывает собачья любовь!

Иногда Туся спрашивала меня, как я ее люблю, как лошадь или как собаку. Я ее любила как лошадь. Лошадь была сильнее меня, и, скорее всего, умнее. Туся любила меня как собаку. Собака – друг человека.

После девятого класса, летом, Таня вдруг решила заработать денег, а заодно немного поездить. И нанялась в археологическую экспедицию во Псков.

Из Пскова я получила от нее несколько писем. Я узнала, что жила она в палатке с одной молодой женщиной и что в Тусю влюбился красавец-шофер Дима.

Когда мы встретились в сентябре, я ее не узнала. Таня больше

не сутулилась, держала голову чуть набок и не стеснялась большой груди.

В тот день я захватила с собой маленький нательный образок. Его я выменяла на три пачки жевательной резинки у одноклассника. Образок состоял из миниатюрной деревянной иконки Николы Угодника, чудесно выписанной маслом, и серебряного оклада, крепившегося к иконке крохотными серебряными гвоздиками. Я решила подарить этот образок Тусе, но почему-то передумала. Хотя показать показала.

Таня разглядывала образок, а я сказала, что гвоздики можно вынуть и посмотреть лик Николы без оклада. Мы вынули гвоздики, а когда стали всовывать их обратно, оказалось, что одного не хватает. Я расстроилась. Еле сдерживаясь, чтобы не расплакаться, я стала прощаться с Таней. Про себя я была уверена, что это из-за нее потерялся гвоздик.

Вскоре я узнала, что Туся подружилась с той женщиной, которая жила с ней в палатке. Женщина оказалась просто Ирой, девицей двадцати двух лет. Она ушла из какого-то «неинтеллигентного», по ее словам, вуза, и теперь они с Таней готовились к поступлению на истфак. И родителям Тани Ирина тоже очень нравилась.

Когда она пришла к ним в первый раз, Тусино семейство обедало. Ирину пригласили за стол. Танин отец резал огурец и кусок отскочил в Ирину тарелку. Она тут же схватила его и съела. Родители, да и сама Таня, были потрясены. Туся потом мне говорила восхищенно:

– Ты представляешь, взяла и съела. Как она все-таки свободно себя держит!

Свидания наши стали реже. А однажды Туся совсем некстати сказала:

– С Ириной мне очень интересно. Очень.

Так продолжалось около года. Туся и Ирина поступили в университет на исторический факультет. Но вскоре у Тусиного отца случились неприятности на работе. Решено было переезжать в другой город. Туся забрала документы из университета, получила там характеристику, и они уехали, точно даже не зная, куда. Сначала в Тарту, а потом, может быть, еще куда-нибудь.

Несмотря на охлаждение между нами, Таня обещала написать мне из поезда и отправить письмо с первой же станции.

Однако письма от нее я так и не получила.

Ульяна Сергеевна

После баб-Саниной смерти мне сразу стало не с кем жить на даче. У второй бабушки были свои дела, родители отдыхали обычно осенью или зимой, а летом работали. Нюра успела к тому времени выйти замуж. И мама решила обратиться к кому-нибудь из соседей.

В новом районе, куда мы перебрались из старого особняка, у нас была малогабаритная двухкомнатная квартира, где под линолеумом лежали цементные плиты, а ноги стыли даже в жару.

Соседи оказались тихие: все пенсионеры – и сверху, и снизу, и по бокам. Шумно у нас бывало только в двух случаях: во-первых, когда сосед сбоку кашлял во сне, и, во-вторых, когда собака соседки сверху катала по полу резиновую игрушку. Даже трудно себе представить, во что превратилась бы наша жизнь, будь соседи чуть-чуть пошумнее.

Однажды мы с Витей возились, и я шлепнулась навзничь, залепив себе по носу коленкой. Я взвизгнула и разревелась. Тут же раздались требовательные звонки в дверь. Все наши соседи – и сверху, и снизу, и по бокам – пришли узнать, что случилось.

Так вот, мама решила попросить одну из соседок, одинокую старушку Ульяну Сергеевну пожить летом со мной на даче.

Ульянушка, как мы ее звали между собой, была маленькой бойкой старушкой. Лицо имела круглое, татарское, скулы сильно выпирали. В ушах болтались крохотные золотые колечки. Она рассказала мне, что сережки эти ей подарил муж, приказчик из галантерейной лавки. И показывала его фотографии. С мужем Ульяна Сергеевна прожила всего год. В Первую мировую войну его убили. Потом растила сына Сережу, который отца так и не увидел. Сережа, сам уже немолодой человек, довольно часто приезжал ее навещать.

Ближайший к окну угол в маленькой ее комнате был увешан иконами и разноцветными стеклянными лампадками на длинных цепочках. Нрав у Ульянушки был суровый, спускать она людям не любила, хотя старалась. Совсем не сразу я поняла, какого труда ей стоило держать себя в узде. У нее были строгие понятия о том, как должен вести себя человек, что и когда говорить, что думать. И Ульяна Сергеевна делала все, чтобы не отступать от своих принципов.

Как-то родителям пришлось уехать в разные места, но в одно время. Витя был на практике далеко от Москвы, и мама попросила Ульяну Сергеевну со мной остаться. Та согласилась, но поставила условие: к нам она не пойдет, а я должна переехать в

ее маленькую восьмиметровую комнатку.

Днем я уходила в школу, а вечером, вместо уроков, слушала правдивые Ульянушкины истории. Вот какие.

– С родителями жила я в деревне – глухой, но не малой. Отец был молодой еще, мать молодая и два меньших брата. Ну, жили не богато, не бедно – в достатке. Отец возил товар на базар, и всегда в тех поездках ему была удача.

Уехал он раз в город. Мать в поле ушла. А я с братьями занималась в хате. Стало уж смеркаться, а мне на двор приспичило. В рубашонке выбегла, села на кортки дело справить, да тут и замерла. У сарая, по правую руку, ходит мужик. То сенца в хлев навильничек внесет, то метлу возьмет – подмахнуть у сарая. Работает мужик, меня вроде не примечает. А я гляжу на него во все глаза, забыла, зачем на двор побегла. И вижу я – то тятя мой ходит. Он, он за своей скотиной присматривает, он свой двор метлой подметает. Вижу – отец, тятька, а кликнуть его боюсь, язык присох.

Долго ль так просидела – не помню. Но мужик повозился маленько, на крылечко взошел и – в хату. Была у нас на крыльце гнилая ступенька. Как на нее ногу обопрешь, скрип идет на всю ивановскую. А мужик тот хоть ступил ногой на приступок, все тихо осталось. Однако, когда в избу входить стал, голову прямо как тятя к правому плечу прижал: дверца мала была для него.

Ну, смекнула, что не тятька это, хоть на одно с ним лицо. Нужду справила, а в дом войти боюсь. Но делать нечего, да и холодать стало. Влетела в избу, братанам – ни слова, на печь влезла, играть мне не в мочь. Голова так и трещит, так и ломится. Вдруг, слышь, лошадь заржала на дворе. Лошадь, вроде, отцовская. Однако теперь подвоха так и жди. Дверь распахнулась, и вошел в хату отец: с рынка, значит, вернулся. Ну, братья к отцу кинулись, виснут. А я лежу, притаилась. Не верится мне, что тятя это, а не мужик тот со двора. Кликнул меня отец с печи, пряник протягивает и хлопушку разноцветную. Поближе подошел и говорит:

– Чтой-то ты, девка, смурная нынче? Может, болит что?

Я прянику-то откусила, вроде, настоящий, вкусный. Слезла с печи, подошла к тятьке, села к нему на колена и все рассказала. Как на двор бегала, как видала его там, пока он на базаре был. Отец засмеялся и сказал мне:

– То не я тебе представился. То наш суседко-домовой. Коли он с хозяином лицом схож, будет дому удача. Держи, Улька.

И тятя вынул из-под полы туго набитый кошель, в горстке его взвесил и бросил мне в коленки.

– Пока суседко и тятя твой на одну внешность, и скот прибран у нас будет, и амбар долго не опорожнится. А ну как станет суседко хромым да кривым – собирай, доча, котомку. Не будет нам житья. Вот твоя матка и кладет на Ефрема Сирина кус крупеника на загнеток. Это чтобы уластить суседку да умаслить. Поест кашки и подобреет. Но смотри, Улька, не кличь домового, коли еще раз тебе представится. Знаешь примету: кажется человеку, будто кличет его кто, глядит он по сторонам, за печь зайдет, на полати слазит – нигде никого. А голос тот опять пристает, кличет его по имени. И значит это, выживает его кто-то с насиженного места. Может, кто родной от беды предохраняет, а может, кто и по злобе. А суседко наш разбираться не будет. Мы ведь для него – что он для нас. Мы думаем, нас нечистый кличет, а для суседки все мы, люди, нечистью кажемся. Коли ты его позовешь, решит дядько, что его с насиженного места гонят. И тогда поминай, как звали. Уйти может, а с ним и достаток наш уплывет. А может козни свои чинить, да не шутливые, заплетая в косы гриву любимой кобылице, а черные. Может весь скот параликом разбить, может зерно по ветру развеять, а может нас всех в могилу свесть.

Испугалась я тятиных слов. И хотя не виделся мне больше домовой, а все же до сих пор каждый год кладу в блюдечко каши с маслом и ставлю в ночь тридцатого марта в кухне, на подоконник. Да теперь вот подоконника-то нету, так я как придумала. Батарейки у нас махонькие, вьются у самого пола, комнату не обогреют, а блюдечку на них в самый раз будет. Всю ночь каша-то теплая.

Ульянины сказки

– Был у меня троюродный брат. Парень ничего себе. Черный, видный, в картузе ходил. Ну, ухлестывал за мной маленько. Мне семнадцатый год шел. Что таить, и о своем доме подумывала. Ну, говорит мне как-то братец:

– Поедем, – говорит, – Уля, на возке кататься. До города домахну, гостинец себе присмотришь. Отец денег дал.

Возок тот был известен у нас на всю округу: легкий, дышловый, а кузовок плетеный. Братца моего Митрохой звали, а возок этот ему отец давал. Побаловаться. Семья их была зажиточная, побогаче нашей.

Ну, долго я думать не стала. Согласилась, конечно. Обговорили день. Вынула я кожаные ботинки из сундука, еле напялила, шнурками затянула. Блузку новую, платок на плечи. Все чин чином. Зеркала-то толкового не было, в осколочек глянула и пошла.

Встретились с Митрохой. Он – глаза завел. Прищелкнул, значит, языком и погнал лошадь в самую чащобу. В объезд по широкой дороге ехать погнушался. Ко мне обернулся, кричит, чтоб от веток глаза поберегла.

Едем по лесу, а у меня душа у-ух! у-ух! Вверх, вниз, вместе с возком подскакивает, дышать не могу. Наконец выехали на дорожку пошире, пообкатанней. Ветки хоть не хлещут и тряски поменьше.

Впереди, через деревья, вижу, замаячила полянка с часовенкой. Значит, полдороги долой. Тут и Митроха ко мне повернулся. А сам серьезный, не свистит боле. Ну, прям ошпарил меня глазищами своими. Да мне чего бояться, сама поехала. А он мне нравился, да-а, чего ж? Я не квашня какая была.

Вот уж до полянки той рукой подать. А за ней лес снова гуще делается, а дорожка поуже. Думаю, там Митроха, лошадь и осадит. Думаю: вынесет он меня на руках из возочка, да в мох положит, ай сам ко мне в возок пойдет?

Не заметила я, как до часовенки Митроха домахнул. А была эта часовня в глухом лесу, на середке между сельцом и городом. Только по той дороге никто из мужиков не ездил. Боялись. Часовню поставили на том месте, где разбойники или кто еще – не знаю, убили деревенского мужика Ерему. Соседом Митрохину отцу был. Мужик так тихий, зла никому не делал. Только любил Ерема все справлять в одиночку. Детишек у него не было. Ерема был небогатый мужик, скорее из беднейших. Лошади своей не имел. Занимал у Митрохина отца, по-соседски.

Ну, занял как-то лошадь с телегой, нагрузил мешками. Бог весть, что в тех мешках было. Махнул Ерема кнутом – и в лес. Жене сказал – в город. Никто тогда не удивился. В селе знали, что Ерема любит напрямик, через лес ездить. Только больше Ерема не вернулся. Да-а-а… Так-то.

К вечерку приносит взмыленная лошаденка пустую телегу. Сама дрожит, бока раздутые, весь круп в ссадинах. Лошадь – не человек, пытай – не скажет. Собрался народ. На коней поседали, прибрали ружья, у кого было. Не забыли головни горящие – смеркалось уж. Поехали.

Вернулись только к полуночи. Стучат в Еремину хату. Хозяйка отперла, да ахнула. Пялится на нее выкаченный Еремин глаз, а заместо другого и вовсе дырка. В крови весь, волосы с головы клочьями вырваны. Чуть баба не грохнулась со страха. Ну, оставили покойничка до утра, каким был. А в хату к нему много народу набилося: жена Еремы боялась оставаться с ним одна.

Ночь тихо прошла, утром обмыли Ерему, одели. Отпевание в скором времени было. Батюшка пропел псалом о невинно убиенных.

Однако всю округу спокою Ерема лишил. Дорогой той лет пять никто не ходил – не ездил. Недавно на том самом местечке, где Ерему нашли, поставили деревянную часовенку и крест при ней. Ну, народ и решил: раз место освятили, напасти не будет. Помаленьку снова этой дорожкой стали пользоваться.

Я, однако, качаюсь в возочке за Митрохиной спиной и уж представляю, дура, как он ко мне наклонился, руками обхватил (а ручищи у него смуглые были, а уж здоровенные…)

…Много чего еще я б напредставляла, если б не глянула на крест. В аккурат мы с часовней поравнялись.

Висит, болтается на кресте убитый Ерема! Глаз на меня пялит. Весь в кровавых отрепьях, рот под бородой перекошен, и головой мотает. Из стороны в сторону, будто чего мне не велит.

Я как заору. В Митроху вцепилась.

– Гони, – кричу, – Митроша, милый! Боюсь, – кричу. – Гони!..

Он ко мне обернулся и вроде недовольный весь. Пытает меня, чего, мол, дура, испугалась. Однако наддал лошади. А я глаза-то закрыла, руки не отдерешь, и сижу, молчу. Долго, гляди, сидела. А как отняла руки, опять та полянка с Еремой на кресте. Не велит мне, головой страшной мотает. Тут уж я себя потеряла. И кричать не могу.

Очухалась только в поле. Митроха мой, жених неудачный, остановил повозку. Чувствую, кто-то по голове меня гладит. Да глаза боюсь открыть, поглядеть – кто. Пуганая уж. А ну, думаю, как Ерема с креста слез?

Слышу, однако, Митрохин голос. Глаза открыла. Он. Гляжу – рот разевает, а никак в толк не возьму, что говорит-то. В угол возочка забилась, вылупилась на Митроху. Потом, чувствую, набрякла вся, и разревелась. Вроде легче стало. Тут уж и листики на опушке зашумели для меня, ну и голос Митрохин дошел. Будто тяжесть какую сняли с головы.

Дождался Митроха, пока наревусь. Стал с вопросами приставать: что видела? Чего испугалась? Рассказала ему все, как было. А потом он мне – что видел.

Значит, как я тогда закричала, чтобы лошадь-то шибче гнал, стало досадно Митрохе. Не думал он, что девка такая-то дура попалась. Оглянулся на меня, видит, сижу, вся белая, трясусь, руки от глаз не отжимаю. Ну, думает, может, и вправду есть что. Может, и не его, Митроху, испугалась. Едем дальше молча. Тропочка впереди у́же, у́же делается. Вот ее почти и не заметить.

Но что ж это такое?! Не верит Митроха своим глазам. Опять поляна перед ним, опять часовня. Решил Митроха, что вправо лишку взял. Оглянулся ко мне, я зажмурилась. Возблагодарил Бога, что хотя бы передо мной не опростоволосился. Наддал лошади. Взяла левее, как направил. Сзади – ни звука. Вспомнил Митроха, как у нас с ним не заладилось дело. Опять на него злоба накатила. Хлестнул лошадь, что было мочи. И вымахал опять на ту же поляну. Глянул на меня через плечо, а я уж то ли вовсе окочурилась, то ли в беспамятство впала. Обрыдло все Митрохе. Развернул он возок и погнал по обратной дороге, на село.

Едет по лесу Митроха, а сам думает, не добраться нам до села. Забаламутил нас шишига лесной, обалбесил, заводил вокруг да около одной поляны. Тут уж парень, не будь дурак, пробубнил по-скорому «Отче наш», перекрестился, через левое плечо поплевал и меня тоже перекрестил. Выругал он себя, что сразу-то не додумался помолиться. Да теперь уж чего говорить.

Вот просвет занялся, показались крыши села из-за пригорочка. Осадил Митроха лошадь. Не годилось ему девку такую возвращать домой. Подумают на него плохо, а он-то и не виноват вовсе. Слез, ко мне подошел, потряс за плечи. Очнулась я. Ресницами затрепыхала, а глаза не открываю. Интересно Митрохе, чего я-то испугалась. Погладил по голове. Вздрогнула я, глаза открыла, в угол от Митрохи забилась. И заревела белугой.

После разговору-то нашего отдышалась я маленько, лицо утерла. Посидели мы молчком и домой поехали. Я вышла из возочка у своей хаты. Дома никому ни слова не говорю. Мать все потом вокруг меня заходы делала. Ждала чего-то, да не дождалась. А с Митрохой я видеться избегала, и он вроде не горел. Как меня издаля завидит, сразу норовит вильнуть за

ближнюю хату.

Той же осенью посватался ко мне Вася, будущий муж мой. Он приезжал к родителям в соседнюю деревню. Сватов на тройках прислал. Сам обещал сразу после свадьбы в Москву увезти.

А через годов несколько узнала я от своих, что Митроха ни с того, ни с сего запил запойно и повесился у себя в конюшне. И глаз у него один вылупился, а один вовсе вытек. В аккурат, как у покойника Еремы.

Ну, перекрестилась я. Бога возблагодарила, что не дал тогда с Митрохой обласкаться. Кто знает, что бы из всего вышло. Муж хоть и погиб вскорости, а в бумаге похоронной написано было: «Пал смертью храбрых, Отчизну защищая». В Москву, обратно же, вывез. Все-таки за тот годик, что прожили вместе, и я барынькой побыла. В кружевах вся, лицо белое – лучшим мылом французским умывалась.

Нет, не зря тогда Ерема головой мотал, не велел будто мне чего делать…

Гадания

Вот, казалось бы, перебралась Ульяна Сергеевна в новый дом. Люди неверующие, безбожные скажут, что нет там ни шишиг, ни домовых. Ан нет, не угадали.

Недавно, к примеру, Ульянушка сама слышала (а слух и зрение у нее, слава Богу, в порядке), как за дверью, по линолеуму коридора, из совмещенного санузла да в кухню кто-то – топ-топ-топ… Меленько так засеменил. Да не мыши то. Нет у них мышей. В таких коробках каменных не то что мыши, мухи не разведутся.

Или еще, с месяц будет. Спит Ульянушка ночью на постели своей. Постель, надо сказать, высокая, с кружевным подзором. И чувствует сквозь сон – душит ее кто-то. Стала себе рубаху на груди расстегивать, да и наткнулась на чью-то волосатую лапу. Хватило духу перекреститься. Сразу облегчение ей сделалось. Тут и сон снизошел.

Я слушала эти рассказы и говорила Ульяне Сергеевне, что зря она во все это верит. Я вот хоть и моложе нее на целых шестьдесят лет, а все-таки не верю.

Однако не прошло и суток, как я уже твердо знала, что стенном шкафу Ульянушки, на антресоли, живет ее собственный домашний черт. Это он устраивает ей инсценировки в коридоре, он душит ее по ночам, он съедает оставленную в блюдечке на батарее кашу.

Я просыпалась среди ночи в холодном и липком поту и, сжавшись, слушала ровное Ульянушкино дыхание. Если створка шкафа была приоткрыта чуть больше обычного, я начинала ждать появления нечисти с минуты на минуту. Мне становилось жарко под ватным одеялом, но я боялась пошевелиться, а уж о том, чтобы скинуть одеяло и речи быть не могло: ведь черт мог показаться в любой момент.

Так продолжалось довольно долго, с неделю, наверное. Как вдруг, в одну из жутких этих ночей, взгляд мой упал на большую икону у Ульянушкина изголовья. Я быстро перекрестилась под одеялом и стала про себя твердить: Отче наш, Отче наш, Отче наш. Дальше слов я не знала. В первую минуту мне сделалось еще жутче, и я уже готова была разбудить Ульяну Сергеевну. Но вскоре я успокоилась и заснула. Больше я по ночам не просыпалась. А когда приехали родители и забрали меня домой, я и вовсе забыла думать обо всех своих страхах.

И вот мама попросила Ульянушку пожить со мной на даче. И еще мама сказала, что Витя уедет на Азовское море. На все лето. И если я хочу, то могу пригласить на некоторое время какую-

нибудь из своих подружек. Проблема выбора передо мной не стояла: этой подружкой стала Туся.

В поселке нашем Тане очень понравилось. С Ульянушкой они быстро поладили, и зажили мы втроем вот как.

Ложились очень поздно, к двенадцати, а засыпали еще позже – часа в три, когда уже брезжил рассвет. Недаром я начала рассказ не с утра, а с вечера, даже с ночи. День наш расходовался на более обычные и менее интересные вещи, чем ночь от двенадцати до трех.

Улегшись по всем правилам и удостоверившись, что Ульянушка ровно посапывает за тонкой стенкой, мы зажигали свечу в резном бронзовом еще баб-Санином подсвечнике и усаживались в ночных рубашках вокруг низенького столика, стоявшего между нашими кроватями. На столике все уже было приготовлено к ночному бдению. Два зеркала, две толстые книги, запасные свечи, крышки, газетная бумага.

По ночам мы говорили о самом важном и гадали. Гадали на зеркалах, по книге, по горящей газете. Газету мы клали на крышку, крышку держали за ручку снизу и вращали по оси. На стене в тусклом сиянии свечки нам показывались контуры домов, людей, животных и птиц. Вот я сижу за письменным столом, а вот Туся на лошади. Можно было узнать судьбу и по книге.

В нашей маленькой московской квартирке было очень тесно, и при переезде родители продали пианино и библиотеку, в которую вошло немало баб-Саниных книг. Ей-то они теперь были ни к чему. Кое-что из книг отвезли на дачу, где ими в голодную зимнюю пору лакомились мыши. Каждую весну мы находили все более истерзанные страницы и корешки в горках бумажной шелухи по полкам.

Задув свечу, мы с Таней прощались на ночь и спали до часу дня. Ульянушка поначалу возражала и ругалась, что утра не видим. В конце концов смирилась и молча шла ставить чайник при нашем запоздалом появлении на террасе.

Днем, впрочем, тоже было кое-что интересное. После завтрака мы читали или копошились в старых чемоданах, сложенных в сарае. Мы извлекали рваные тетилюбины балетные трико, соломенные шляпки с цветами или крохотными птичьими чучелами на тулье, одевали на голову пыльные кокошники и расхаживали в странных нарядах по участку, пугая Ульяну Сергеевну и залетных птиц.

В один прекрасный день, в середине недели, приехала мама с продуктами и сообщила, что возможно, к нам присоединится одна наша дальняя родственница. Приезда ее можно было ожидать со дня на день. Мы сильно испугались и теперь до обеда

у нас появилось еще одно дело: мы курили фимиам и приносили богам жертвы.

На даче сохранилась книжка Куна «Легенды и мифы Древней Греции». Как раз в то время мы читали ее попеременно вслух. И вот, услыхав новость, мы с Тусей устроили на полянке перед участком небольшой жертвенник. Он собран был из горы гальки, которую сверху и по бокам окружали большие изразцовые плиты. Они навалом лежали без дела у нас за домом. В огражденное плитами место клались жертвенные предметы. Каждое божество получало что-нибудь свое: разноцветные кусочки тканей – для Геры и Афродиты, старое бритвенное лезвие для Марса, фруктовая кожица с косточками для Диониса и, наконец, ржавые ножницы Диане. Ножницы эти оказались единственными в доме, и Ульяна Сергеевна так ругалась на нас, как я не знала, что она умеет. Но потом вдруг осеклась, собрала губы в гармошку и не сказала больше об этих ножницах ни слова. Простила по-христиански.

Следующим днем мы ворошили истлевшие вчерашние приношения и очень радовались, если какой-нибудь негорящий предмет за ночь исчезал. Значит, боги приняли нашу жертву. Благовонием нам служил кусочек ткани или ваты, пропитанный одеколоном. Кусочек этот мы клали на вершину холмика из приношений и только тогда поджигали всю горку. Жертвенный дым и вправду едко пах одеколоном.

Надо сказать, что боги вняли нашим мольбам, и родственница задержалась. Она приехала через несколько дней после отъезда Туси.

Без названия

Я, кажется, здорово засиделась. Ноги совсем закоченели. А все потому, что из-под балконной двери дует. Сколько раз собиралась забить ее чем-нибудь, никак руки не дойдут.

За окном темно. Пока я сидела на стуле с закрытыми глазами да вспоминала о том о сем, успела наступить зима. Воспоминания – вещь не скорая, требуют к себе уважения. Они тоже могут обидеться и тогда не вспомнятся. А если в них что-нибудь важное или интересное? Так что с ними лучше не шутить.

Я люблю вспоминать. Мне даже кажется, что я проживаю день, не замечая. И только потом, через неделю, через год, вдруг этот прожитый день мне вспомнится. Может нипочему, просто так, как отрыжка после обеда, а может по моему желанию, моей просьбе. Если не лениться вспоминать почаще, как раз жизнь получится – день за днем, месяц за месяцем, год за годом.

Человек родится совсем маленьким. Растет быстро, для всех заметно. И сам он тоже видит, что старые штанишки ему уже не лезут: значит – вырос.

А часто ли он меняется? Кто ж его знает… Я вот пока менялась однажды. Со смертью баб-Сани. Сейчас все, что было до этого, мне кажется невозможно далекими. Я вижу тот мир как будто через бинокль, перевернутый наоборот. Тогда резкие и четкие предметы отдаляются от тебя. Книжка, лежащая под рукой, отодвигается в самый далекий угол бесконечно длинного пространства. А все, что случилось со мной после смерти баб-Сани, представляется совсем близким, недавним. Школу кончила – только что; в институт поступила – вот-вот.

Сейчас за окошком ветер и снег, снег, снег… Больше ничего не видно. Никогда не жила я выше второго этажа, а теперь очутилась на шестом. Уж который год, но никак не привыкну. Все удивляюсь, как это меня сюда занесло?

Ветер с грохотом катает по балкону пустые банки. И завывает жалобно и грозно. Я привыкла видеть из окна деревья и другие дома, а теперь вижу только небо. Серое, длинное – коридором. Еще, правда, вижу снежинки. У окна они крутятся, как маленькие пропеллеры. Много-много белых резных пропеллеров. Они летят не вниз, как им положено, а вверх, постоянно толкаясь и приставая друг к другу, натыкаясь сослепу на стены дома.

У моего окна снег всегда летит вверх, опять на небо.

Дом наш в форме буквы Г. А окно моей комнаты как раз у внутреннего угла. Мчит ветер вдоль одной палочки этой буквы. Упирается в мой угол – дальше ему пути нет. Останавливается в

нерешительности, соображает с минуту. Разворачивает свое огромное бесформенное тело и летит вперед, вдоль другой палочки буквы Г. А пока он разворачивается, получается заверть.

На моем балконе ветер кружит белые пропеллеры и перекатывает банки – воробьев пугает, а в лесу он, должно быть, сшибает комья снега с еловых верхушек. Летит ком через шершавые ветки к земле, хочет долететь до сугроба. А зеленые лапы качаются, пальцами перебирают, снег вниз не пускают. Одна рука отхватит кусок, другая отхватит, до сугроба долетит только снежная пыль.

Думаете, раз сугроб – ничего там, кроме снега, нет? Вот и неверно. Потом, когда зима разгуляется, может, и не будет, а пока есть. Попадаются там зеленые листья. Просто они не успели пожухнуть и упасть вовремя. Так и остались молодыми. Сорвало их свежими, на снег побросало, снежком сверху припорошило. Рванет ветер снизу, затреплет белыми спасательными флажками коры-шелухи на березовых стволах, рукавом по земле нечаянно мазнет, тогда листики и станут видны. Если же вдруг потеплеет, снег осядет, станут и они опускаться. Дойдут до земли и присоединятся к другим листьям и травинкам, засохшим раньше, в положенное время. Может, даже встретит зеленый лист бывшего товарища по ветке. И станет им вдвоем веселее.

Осень 1974 г. – осень 2016 г.

В рамке солнечного света

Плохо маме стало после юбилея старшего Ксениного брата. Ему исполнилось шестьдесят. Были гости, мама попросила подкрасить ей губы, со всеми посидела. Даже сострила, что старший внук явился, как всегда, с новой девушкой. Все прошло хорошо, а на следующий день у мамы отнялись ноги. «Наверное, у меня инсульт», – спокойно сказала она, а Ксеня с братом зачем-то вызвали кардиолога, которая однажды спасла маму, подарила ей пять лет сомнительной, но жизни, настояв на установке стимулятора пульса.

Ксеня приехала вечером – врач еще была – сказала маме: «Привет». Та ответила – и это было ее последнее слово. Потом, в больнице, когда с ней говорили, она слышала, понимала, но ответить уже не могла. На глазах у нее выступали слезы. На утро Ксеня приехала ее кормить, точнее поить. Дышала мама тяжело, но без хрипа, а проглотить питье у нее не получалось. Сок булькал, как будто она полоскала им горло, и Ксене все время казалось, что мама сердится, хочет, чтобы Ксеня от нее отстала.

На следующий день ее перевели в отдельную палату, вызвали консультанта, тот сказал, что сосуды на ногах атрофировались и больше помочь нечем. В маминой палате стояла пустая койка с панцирной сеткой. Ксене разрешили остаться на ночь. После отбоя пришли медсестра и нянечка. Втроем сменили маме постельное белье, частями помыли ее саму, переодели ночную рубашку. Медсестра вышла, а нянечка задержалась. Она была высокая крашеная блондинка, молодая, чуть за двадцать. Стала рассказывать, что ездит в больницу из Обнинска, надо бы учиться, хотела в медицинский, а теперь думает – на психолога. Ксеня лежала под своим пальто на панцирной сетке, давала ей ненужные советы, обменялась телефонами и та ушла. А Ксеню била мелкая дрожь. Она встала и прислонилась к окну.

Было самое начало марта, но очень холодно; потрескавшийся от мороза снежный наст был прорезан человеческими тропинками. На улице темно, а в палате горела, отражаясь в стекле, лампа над умывальником. По тропинкам спешили черные фигурки, мигал фонарь над козырьком больницы. На проспекте неподалеку шуршали машины.

Неврологическое отделение засыпало. Мама лежала рядом, вымытая, переодетая, на чистом белье. Ксеня успокоилась и стояла, бездумно глядя в черноту. Очнулась она, когда у нее зазвенело в ушах от тишины. Она поняла, что мама больше не дышит.

Когда приехал сын и Ксеня складывала вещи, медсестра, которая недавно мыла маму, спросила, заберут ли они привезенное из дома ватное одеяло.

* * *

Мама любила повторять, что на ее похороны семья опоздает. Почти так оно и вышло. Выехали впритык, стояли в пробке, влетели в морг последними. Маме плохо накрасили губы, и она была совсем не похожа на себя. Умерла она другой, а хоть что-то исправить уже не успевали.

Мама очень любила своих родителей, особенно отца. Родственников у нее вообще была уйма; друзья, коллеги, которых тоже было немало – погоды не делали. Многодетные семьи сельских священников, несмотря на кровавые урожаи XX века, оставили достаточно родни, чтобы всегда было, с кем поговорить, с кем встретиться, кого попросить побыть с ребенком и у кого одолжить денег до зарплаты. С папиными родными мама тоже дружила. Исключение составляла свекровь. Бабушка и мама не ладили давно, со времен войны. Каждая чего-то не могла простить другой. И Ксенины обязательные визиты к бабушке с раннего детства превратились в пытку: часами она должна была слушать выдержки из одних и тех же писем и одни и те же рассказы о маминых прегрешениях.

Ксеня умоляла бабушку замолчать, но та монотонно, ровным, бесстрастным голосом продолжала произносить давно заученный текст, доводя Ксеню почти до спазмов. Она помнила, как, маленькая, сидела на черном кожаном стуле с высокой спинкой, а комната вокруг нее кренилась и кренилась в сторону. Почему отец не мог положить конец этим монологам, почему мать исправно раз в неделю отправляла Ксеню к бабушке – для нее так и осталось загадкой.

Когда бабушка не могла больше жить одна, родители взяли ее к себе. Бабушка присмирела, а мама ухаживала за ней вполне безотказно. Только последний месяц, когда бабушка лежала без сознания, Ксеня с братом и любившая бабушку старушка-домработница по очереди дежурили около нее. Мама тогда уехала с Ксениными детьми на дачу.

И вот незадолго до смерти мама сказала: «Наверное, придется лежать со свекровью – на два кладбища ездить не будете». Ксеня это поняла как знак, что хочет мама быть со своими. Так ее и похоронили – отдельно от отца. У нее очень хороший памятник, где горельеф сделан с их свадебной

фотографии – только мама там одна. Ксеня обязательно ездит на оба кладбища, иногда даже в один день, и всегда, глядя на мамино редкой красоты лицо и голову, склоненную к вырезанному с фотографии папе, спрашивает себя – имела ли право их разлучать?

На похоронах Ксеню знобило, слезы вытекали наружу, а внутри все пустело и пустело. Устоять на ногах было трудно, если б не дети рядом. Зато потом, на поминках, поев, выпив и согревшись, Ксеня не просто успокоилась, а почти что развеселилась. Шутила с родственниками, рассказывала про маму смешные истории. В виде оправдания вдруг вспомнила свою ученицу-эквадорку, которая говорила, что у них не принято плакать, когда кто-то из близких умирает. Наоборот, все смеются и говорят только о веселом. Забылось, что Ксеня не в Эквадоре, что за окном серый осевший мартовский снег, ранние сумерки и что маму она больше никогда не увидит.

* * *

Но она ее увидела. Во сне. Несколько месяцев мама ни разу Ксене не снилась. Но однажды под утро все же пришла к ней. Ксеня видела ее очень близко, но только до шеи. Почему-то Ксеня знала, что нельзя поднимать глаза на мамино лицо.

Мать при жизни очень следила за ногтями – до последних дней просила делать ей маникюр и педикюр. И вот сейчас у нее были идеально ухоженные розовые ногти. Мама стояла, босая, в проеме входной двери на даче. Фигура ее была помолодевшая, такая, какой Ксеня знала ее бóльшую часть времени.

У мамы был чистый певучий голос. И она и отец неплохо пели. Как-то в детстве Ксеня спросила, почему она не поет в хоре. Мама засмеялась: «Потому что меня оттуда в первый же день выгонят». – «А папу?» – не унималась Ксеня. – «А папу – во второй».

И теперь своим спокойным ясным голосом мама сказала: «Там невероятно хорошо». Ксеня же, боясь посмотреть ей в глаза, ответила: «Я не хочу туда, но очень по тебе скучаю». Мама стояла у притолоки на пороге, а за ее спиной бил нестерпимой яркости солнечный свет.

Судьба, судьбою, о судьбе…

На войну отец не столько пошел, сколько прорвался: с его близорукостью в минус десять брать его никак не хотели. Попал в ополчение, в Восьмую Краснопресненскую дивизию, которую в числе прочих пополнили студенты и преподаватели МГУ. Почему-то среди его рассказов о войне больше всего меня потрясало, что ему действительно выдали одну винтовку на двоих. С его истфаковского курса из ста двадцати человек в живых осталась ровно десятая часть – двенадцать. Отец очень любил жизнь, а она, безусловно, несмотря ни на что, отвечала ему взаимностью. Он до последнего дня был невероятно волевым и невероятно деятельным, но часто говорил, что после войны его религия – фатализм.

Однажды во время боев под Ельней, на привале, повар объявил, что осталась каша и кто хочет, может брать добавку. Отец взял, но решил, что сыт, и сунул манерку в вещмешок, а вещмешок одел на спину. Неожиданно начался налет, рядом розорвался снаряд, а когда все затихло, отец обнаружил в пробитой манерке месиво из каши с осколками.

В том же году, уже недалеко от Запорожья, отец был тяжело ранен и контужен. Мина начинила тело осколками, а потом снайпер не торопясь достреливал раненых – отец получил пулю в упор в поясницу. Ночью, истекая кровью, он пришел в себя и пополз к своим, но потерял сознание от боли. На следующий день его погрузили на телегу с трупами. Отец пришел в сознание и в последний раз застонал – его услышал возница. Этот стон подарил ему еще 55 лет жизни.

Другая история произошла, когда отец с товарищем выходили из окружения и на проселочной дороге столкнулись с двумя немцами. Дело было зимой, и на отце был рваный крестьянский ватник, на ногах – валенки, но один из немцев, взглянув на него, не без оснований заметил: «Jude!» Отец шел дальше, спокойно зная, что это все. Но немцы почему-то не выстрелили.

После очередного ранения отцу должны были ампутировать ногу и руку, и уже на операционном столе в полевом госпитале сквозь туман он услышал разговор хирурга и медсестры – они были муж и жена: «Оставь, смотри, какой молодой». – «Попробуем, может, действительно, выкарабкается». И он выкарабкался. Его правая рука по всей длине ниже локтя была прошита автоматной очередью и висела плетью, но отец разрабатывал ее тысячи часов и смог в конце концов ею писать.

Долечивала его уже в Москве талантливый хирург и редкая красавица – первая жена авиаконструктора Королева доктор Винцентини. Когда уже сильно после войны к ней, в Московский институт травматологии пришел старший сын отца, она вместо стандартного вопроса «не родственник ли вы композитора Дунаевского?» спросила: «Вы не сын Владимира Дунаевского?» Она же извлекла папе пулю из крестца.

К концу войны у отца было девять ранений, и несколько осколков так и остались в нем навсегда. Иногда они начинали медленно мигрировать, и тогда отец во сне кричал от боли. Моя младшая дочь, которой в детстве приходилось много летать на самолете, недавно призналась мне, что ее главным желанием тогда было пройти с дедом в аэропорту тест на наличие оружия: она была уверена, что пропускные воротца будут сотрясаться от звона.

Отец считал, что его спасала судьба, а его родных в блокадном Ленинграде спасла их собака. Ирландский сеттер, очень крупный – сохранилось фото. Ее подобрали в 38-м году на улице в сильно потрепанном виде. На шее была бирка с неленинградским телефоном. В семье почему-то решили, что хозяин пса репрессирован, а прибежал пес то ли из Пскова, то ли из Новгорода. Назвали собаку Джой – «радость»: когда перебирали клички, на эту он вдруг шевельнул ушами. Вымытый и накормленный, он оказался так хорош, что «Кровное собаководство» поставило его на учет, несмотря на отсутствие документов. Дети со двора бились за право выгулять Джоя, а жена кинорежиссера Григория Козинцева, жившая в квартире напротив, всегда носила в кармане запасное печенье – на случай внезапной встречи.

Когда началась война, «Кровное собаководство» выдавало на Джоя продукты – мясные обрезки и неочищенную крупу. Потом это прекратилось, но началась блокада, и из остатков крупы делали лепешки и болтушку и для людей, и для собаки. Потом кончились и остатки. Люди делились с собакой хлебом, но большому и сильному Джою этих крох не хватало. Он молча слабел: не выл, не злобился и ничего не просил; безучастно лежал на подстилке, а по его носу стекали огромные слезы. Под постоянными обстрелами гулять с ним стало невозможно, да и двигался он от дистрофии уже с трудом. Джоя усыпили. А собак в семье больше никогда не было.

Истории об Арсюше

История первая. Про грибного ежа

Говорят, ежи приносят счастье.

Когда мой сын Арсюша был совсем маленький – только научился ходить – было лето и мы жили на даче. Арсюша очень любил убегать с участка в небольшой лесок, прямо за дачным забором. В леске были сложены доски, кучи торфа, там рыли ямы для отбросов. В него-то и любил ходить мой сын, а меня с собой никогда не приглашал.

Еще Арсюша очень любил поговорить. Тихо становилось тогда, когда он делал что-нибудь важное. Например, он тихо бил яйца на полу в кухне, тихо выливал на стол молоко из пакета и тихо исчезал с участка. И вот, как-то, когда Арсюша вдруг перестал разговаривать, я быстро нашла его за калиткой. Он молча и решительно двигался вперед. Вдруг откуда-то сбоку на тропинку выскочил ёжик, увидел мальчика, испугался, затормозил – и снова нырнул в траву.

Арсюша тоже растерялся, но через минуту с кличем: «Мама-кукама!» – наверное, для бодрости, – шагнул за ежом. Раздвинул травяные заросли – а тут новое удивление. Прямо перед ним стоит большущий белый гриб. Такой огромный, какого я никогда в жизни не видела. Мы с Арсюшей сорвали шляпку, чтобы застолбить свое право на это чудо, потом вернулись с ножом и аккуратно срезали ножку. Принесли гриб домой, а когда стали жарить, он один занял нашу самую большую сковородку. Такой был громадный.

История вторая. Про озеро́

Рядом с дачей, где мы жили, было озеро. Арсений, которому уже исполнилось два года, любил его, хотя поначалу всячески отлынивал от купания, даже сразу предупреждал: «Идем на озер*о*, только купаться я не буду».

Озеро вообще явно занимало воображение Арсюши. Однажды у нас в гостях был другой маленький мальчик, который никак не соглашался есть гречневую кашу, и Арсюша пугал его: «А ну-ка, – говорил он свирепо, – ешь кашу, а то придет мама-слониха и даст тебе хоботом атоматически по попе, атоматически по шее, а потом я тебя кину в озеро́, и ты утонёшь, но я тебя заспасаю. Положу на сковородку и съем-м-м, потом выплюну и скажу: «Иди, гуляй в поле…»

Так как Арсюша боялся один входить в воду, мы чувствовали себя на пляже в безопасности: занимались своими делами, он – своими. Как-то мы взяли с собой книжку про рыбок и всех, кто живет в море. Я прочитала ее Арсюше раза три, пока мне самой не надоело, но он готов был ее слушать еще и еще. Смирившись с тем, что я объявила перерыв, он взял ее, стал сам рассматривать картинки.

Вдруг, как обычно бывало, я не столько увидела, сколько почувствовала, что Арсюши нет. Куда ни бегу, нигде его не видно. Зовем, Арсюша не отзывается. Вдруг старичок-рыбак, удивший на мостках рыбу, кричит: «Эй, мамаша, идите-ка сюда!»

Бегу к мосткам. Кудрявая Арсюшина макушка, то выныривая, то погружаясь в воду, медленно двигалась вдоль берега. Под кудрями нашелся и сам Арсюша. Поначалу говорить с ним мне как-то не хотелось, и он сам прервал молчание: «Мам-мам-мам, – затараторил он, – я искал осьминогин дом – а не нашел… Пошли искать вместе».

История третья. Про зоопарк

На следующий год, как только мы с Арсюшей переехали с дачи в город, первым делом пошли в зоопарк. Он уже давно туда просился, но все не получалось.

И вот мы там. Слева плавают диковинные птицы, справа в клетках скачут белки и рыси. Но мы не останавливаемся, торопливо идем дальше и скоро находим слона. Слон осторожно поднимает свой шершавый хобот, потом как будто бросает его вниз, при этом тихонько помахивая острым кожаным хвостом. Однако и тут Арсюша не задерживается. Он хочет видеть все новых и новых зверей. Как только мы подходим к клетке с обезьянами, он интересуется, где тут белый медведь. Находим белого медведя – оказывается, больше всего Арсюша мечтал увидеть бегемота…

Довольно быстро мы обежали зоопарк. Я, говоря по правде, даже устала и прислонилась к какой-то птичьей клетке. Арсюша подошел и – вижу – чем-то наконец заинтересовался. Он приник к клетке и медленно двинулся вдоль нее, выслеживая какую-то птицу. Я позвала Арсюшу – он не ответил, пошла за ним – не оглянулся. Было ясно, что он увлечен по-настоящему. И скоро я поняла – кем. Петухом. Обычным рыжим петухом с темно-коричневым хвостом. Правда, на табличке было написано, что петух «бониванский», но у нашей дачной молочницы тети Паши был совсем такой же. Наверное, и Арсюше так показалось.

Но это было еще не все. Вдоволь насмотревшись на петуха, мы двинулись к выходу. Вдруг Арсюша закричал: «Смотри, грузовик!» – и, бросив мою руку, вихрем помчался в сторону. Я поплелась за ним. Действительно, за решеткой стоял небольшой зеленый грузовичок. Арсюша победно улыбался. Он испытующе взглянул на меня: «ГАЗ или ЗИЛ, говори!» – потребовал он. «ГАЗ», – неуверенно промямлила я. «Молодец!» – похвалил Арсюша и в заключение добавил: «А теперь я хочу есть».

Зоопарком он был явно доволен.

Стихи

А потом Арсюша пошел в детский сад. Там он поначалу очень грустил. И даже сочинил стихотворение:

Жили-были гномы,
И у них не было жены,
Каждое утро они искали себе жену.
Жили-были гномы,
И у них не было мамы,
Каждое утро они искали себе мать.
И им было грустно.

А потом второе:

Наступает время облетающих листьев,
Наступает время снега,
Наступает время улетающих птиц,
Наступает время зимы.

Школа

Прошло еще несколько лет, и Арсюша собрался в школу. Он к тому времени очень хорошо знал географию, как мало кто из взрослых знает. Помнил все столицы всех стран мира. Даже самых маленьких и далеких. Знал, у кого какой флаг.

И вот, идем мы 1 сентября в школу, Арсюша молчит, потом уже в дверях тихо спрашивает: «Мам, а если меня спросят, какие реки в Бразилии, я должен буду называть пересыхающие реки?»

2 сентября его заинтересовал более практический вопрос: «Мам, а если в туалет захочется – портфель с собой брать?»

3 сентября по дороге из школы Арсюша мне строго попенял: «Сегодня пришлось за тебя краснеть – забыла вчера ручку в портфель положить».

4 сентября после похода в школьный буфет поступила волнующая информация: «Дали сегодня какой-то странный компот – в нем губы не тонут, а плавают на поверхности…» Речь шла о киселе.

5 сентября учительница предупредила, что все, кто будут вступать в «октябрята», почему-то должны принести пироги в школу. Я удивилась, говорю: «Но не все же мамы умеют печь пироги». «Ну и что? – парировал Арсюша. – Они извиняться и испекут булочки!»

Весенний снег

Стояли холода, но снег был уже по-весеннему серым и лежал шматками. Наташу отправили в роддом заранее: беременность протекала с осложнениями, которых Наташа почти не ощущала, но которые, конечно же, чувствовала девочка.

Что там девочка, выяснилось на седьмом месяце. УЗИ еще были редкостью, да Наташа и не стремилась все знать наперед. Как будет, так будет. А тут прихватило поясницу – нерв защемило – да так, что из глаз от боли не текли – брызгали слезы. Ни лежать, ни ходить, ни сидеть, ни стоять. Наташа вращалась на своем диване, как маятник, переваливая живот с одного бока на другой.

Фельдшерица из гинекологической неотложки жизнь облегчила – вколола обезболивающее и торжественно возвестила: «Там девочка. Ножка присогнута».

Если девочка, имя было определено еще до беременности: Анна. В честь свекрови, с которой Наташа дружила. И жила она всегда со свекром и свекровью, а муж отдельно – в маленькой соседней квартире. Туда Наташа ходила болеть и работать. Там, в пустой и просторной мужниной квартире, пролежала половину беременности – была угроза выкидыша. Свекровь приносила супа, а мужа месяцами не было: он уезжал подработать за границу. За немытым окошком кончалась «перестройка».

Время родов приближалось. И хотя, несмотря на осложнения, Наташа себя хорошо чувствовала, врач считал, что придется делать стимуляцию. И вот Наташа, ощущая себя вроде как больной и от этого вполне безответственной, из дома переместилась на больничную койку у окошка, где дочитывала «Сагу о Форсайтах». Было приятно читать что-то бесконечное, не напрягаясь и особо не вникая в детали.

Роддом был новый, хороший и полупустой. Рожать народ постепенно переставал. Наташе было почти сорок и, чтобы меньше выделяться среди молоденьких соседок, она плела себе косички.

Рядом с ней лежала Лена, женщина лет двадцати пяти, беременная от женатого любовника. Крупная некрасивая блондинка, она иногда тихонько плакала под одеялом. Однажды любовник пришел ее навестить, они долго переговаривались через открытую форточку. Лена была беременна мальчиком и очень на это ставила: в основной семье у любовника была девочка.

Напротив Наташи лежала семнадцатилетняя красавица-

даргинка из аула под Махачкалой Саида. Маленькая, смуглая, стройная, с копной африканских кудрей и большими зелеными глазами. Неожиданно низким и грубым голосом она сообщила, что муж – он в Москве огурцами торгует – ее украл, а только потом поженились, и вообще у них все по закону, по правилам. Ахмет приходил часто. У Саиды были первые месяцы беременности, и, услышав его сигнальный посвист, она легко впрыгивала на огромный подоконник к заветной форточке.

Наташа была «блатная», врачу причиталось за хорошо принятые роды, и, когда ее кто-то навещал, медсестра вызывала ее как будто на процедуру, а потом вела к приемному отделению. Навещали нечасто. Роддом был далеко, в лесной зоне. Рядом, правда, жили родители, но отношения с ними до их старости были у Наташи неспокойными, и на Наташину просьбу к ней заехать мать сухо ответила: «Хорошо, я передам папе».

Четвертая койка в палате пустовала. Дни проходили тихо и тягуче, однако мирное их течение нарушило бегство Саиды. В одно прекрасное утро пришла медсестра с пачкой анализов и выкликнула: «Акилова, срочно в ординаторскую!»

Кровать даргинки была пустой, в туалете ее тоже обнаружить не удалось. «Вот дура, – резюмировала уже в дверях медсестра, – у нее ж гонорею обнаружили…»

Наташа обмерла: ведь одним душем, одним туалетом пользовались! Чуть не из одной тарелки все ели! В голове проносились ужасы, к которым ведет гонорея у новорожденных: нагноения слизистой, полная слепота – что там еще?

Но день шел своим чередом, срок родов приблизился. Страшные мысли пришлось жесткой рукой отогнать. Наташа решительно заплела косички и пошла завтракать.

К вечеру начался снег. В середине марта снег идет нечасто, но тут небеса разверзлись. Такого Наташа еще никогда не видела. Снег не падал, кружась и заметая; не валил хлопьями; не летел колючим шлейфом вместе с поземкой; не сыпался с неба шариками белой манки. Мелкий снег шел и шел, не переставая, с огромной скоростью, без каких-либо промежутков; шел как дождь. Это был настоящий снежный ливень. «Ночью я рожу», – подумала Наташа.

Схватки разбудили ее около часу ночи. Наташа постучала в ординаторскую, там спала дежурная команда. Акушерка Таня откликнулась первой: «Походи, вон, по коридору, быстрей дело пойдет». Таня, опровергая теорию вероятности, была известна тем, что в ее дежурство рождались только девочки. «И что – ни разу ни одного мальчика?» – изумилась Наташа. «Ни одного, – был ответ. – Таня только и мечтает до пенсии успеть мальчика

принять».

Схватки усиливались, стали невыносимыми. Наташу уложили на кресло, но роды никак не начинались. Наташа кричала. «Чего шумишь, – увещевала ее Таня, – не первого ведь рожаешь».

Что было дальше, Наташа помнила плохо. Чувство жизни вернулось, когда внутри стало очень горячо и легко, а одновременно с этим прямо на Наташин живот рыбкой спланировал младенец.

«Девочка?» – на всякий случай спросила Наташа.

«А ты как думаешь?» – огрызнулась акушерка Таня и пошла мыть ребенка.

Наташу тоже помыли и зашили: лопнул шов на старом разрезе от первых родов. Шили по-живому, без заморозки, но это жалкое покалывание, подумала Наташа, и болью-то не назовешь.

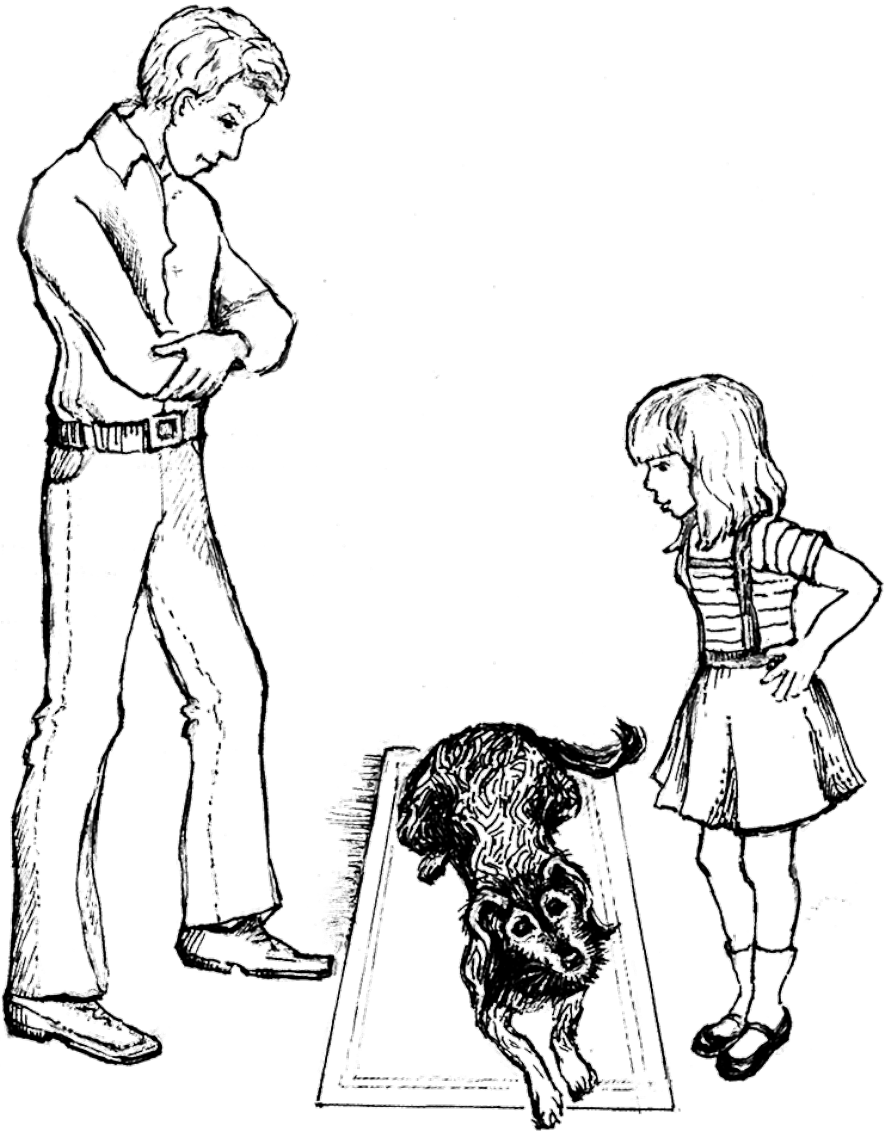
На подходе была новая роженица, Наташу перевели на каталку и вывезли в коридор. А через пару минут рядом с Наташей – справа, в ногах – примостили запеленутого ребенка.

Девочка лежала очень тихо. И хотя Наташа не видела ее лица, казалось, что она молча озирается по сторонам.

«Говорят, они видят все наоборот», – вспомнила Наташа и огорчилась, что так и не удосужилась до родов узнать подробности. А ведь роды-то, действительно, не первые.

Девочка была с волосами, но такими светлыми, что казалась лысенькой. Лишь на самой макушке, пучком, рос заметный блондинистый «конский хвостик» – штук десять длинных волосинок. Почему-то Наташе он очень понравился: показался особой метой.

«Ну, что, Анюсь, ты как?» – шепотом спросила Наташа. Девочка причмокнула, и Наташа тихонько погладила ее по голове.



Ронька

Арсению и Анне

Собака появилась у нас в доме от моей бесхребетности. В начале сентября, когда отмечали день рождения сына – вообще родился он в августе, но народ тогда собрать непросто – он пришел со двора в слезах и выкрикнул: «Там в сумке принесли щенков. Если не возьмешь сейчас, завтра принесу любого!» Вызов я приняла, а тылы мои были неприкрыты: муж и свекровь только что надолго уехали в США – в первую официально разрешенную поездку по частным приглашениям. Началась перестройка, страна вдохновенно качала «насос разрядки».

Сын тоже предоставил мне определенную степень свободы: сводилась она к тому, что мне было предложено участвовать в выборе собаки. Щенков принес в хозяйственной сумке толстый неразговорчивый парень. Сообщил, что это тибетские терьеры, родились «не в подворотне» и цена им двадцать пять рублей. По тем временам немало. Ровно столько, сколько стоила первая электронная игра «Ну, погоди!», которую я так и не купила сыну, несмотря на его страстные просьбы. Мучимая застарелым раскаянием, я указала на щенка, который взобрался на спины притихших родственников, скатился вниз и беззастенчиво напустил лужу. «Самый энергичный», – согласился сын и вынул собаку. А я, представляя лицо вернувшегося из поездки мужа, с ощущением легкого холодка в подреберьи побрела к лифту.

Щенок был черный с коричневыми лапами и бровями, лобастый, с крошечными поросячьими ушками. Вечером, когда пришли гости – человек двадцать пять: друзья сына и мои подруги с детьми, мы его закрыли в пустой комнате. Однако узнав, что в квартире есть собака, дети стайками врывались в темную комнату к ошалевшему щенку, борясь за право его погладить. «У собаки будет стресс, и она вырастет истеричной», – припечатала одна из моих подруг. Кто бы тогда знал, как она окажется права!

* * *

На следующий день мы вызвали ветеринара. Он постановил, что щенку примерно месяц, это девочка, а вот по поводу тибетского терьера выразил сомнение: собака была абсолютно гладкошерстная.

В доме напротив жили артисты цирка, и как-то меня со щенком за пазухой остановила ярко одетая женщина. Один глаз у нее сильно косил. «Вы не видели моего номера с упряжкой собак?» – спросила она басом. Номера я не видела, но к щенку она расположилась и дала ряд советов по его воспитанию: не брать его в постель, как бы ни просил; до полугода на улице не гулять – чтобы не подцепил заразу; советских прививок не делать – чтобы не помер. Я послушалась: за ее спиной стояла упряжка, а у меня это первый щенок в жизни.

Мы выложили мехом коробку от обуви и на ночь запустили туда собачонку. Но у нее были другие планы. Пока я не брала ее на руки, она пронзительно пищала и не собиралась спать. Я пыталась проявить твердость. В результате вернулись времена младенчества сына: с опухшими от недосыпа глазами я тащилась утром на работу, и там, кое-как, засыпая от звука собственного голоса, проводила занятия. Щурясь от света дня, я возвращалась домой, отпирала дверь, и навстречу мне на самой большой доступной скорости, скользя по полу короткими коричневыми лапами, мчался наш безымянный щенок. Я брала собаку в руки и испытывала странное чувство абсолютно безответственной радости. Пол теперь то тут, то там всегда был влажный, мы пытались приучить ее выходить по делам на балкон – ведь до полугода гулять с ней знающие люди не велели.

* * *

Друзья сына каждый день заходили после школы поиграть с собакой, и как-то еще детсадский приятель Костя предложил: «А назовите ее Роня. Я вчера фильм смотрел «Роня – дочь разбойника». Щенок благодарно лизнул Костину руку и напустил очередную лужу. На том и порешили. Но самое странное, что с тех пор собака полюбила Костю наравне с нами: она всегда дежурила под дверью, когда он еще только приближался к подъезду, а потом, встречая, подползала к нему по полу, оставляя влажный след. «Мам, я теперь понял, что значит: пи́сать от счастья», – прокомментировал сын. Так же Роня вела себя, когда приходили мои родители. У мамы с собаками вообще были странные отношения: она их не любила, они же ее – обожали. И когда Ронька выросла в шумную и нервную собаку, мама, когда приезжала, сразу шла ее кормить, строго приговаривая: «Мужчины и собаки должны быть сыты – тогда они добреют».

Безмятежная радость от щенка в доме поколебалась, когда Роньке исполнилось два месяца. «Я подошла к вашей двери, и

собачка меня облаяла», – торжественно сообщила мне как-то лифтерша. С этого момента покой кончился. Ронька пронзительным лаем встречала каждый шорох на лестничной клетке, с готовностью откликаясь на все, что происходит далеко за пределами подъезда. Если во дворе перелаивались собаки, Ронька немедленно включалась с шестого этажа. Еще приближаясь к дому, я всегда слышала Ронин голос. Сын говорил, что без меня она обычно лежит под дверью, а если вдруг вскакивает и с бешеным лаем бросается на дверь – значит, я на подходе. Лаяла она и когда кто-то из нас быстро перемещался по квартире; лаяла, когда приходили гости, причем ровно столько, сколько те гостили. Лаяла, когда сидела дома одна, тоже ровно все это время. Соседей по лестничной клетке спасало лишь то, что одна Роня оставалась редко: свекровь, как правило, бывала дома.

* * *

Роньке исполнилось три месяца, когда муж и свекровь вернулись. Встретила она их восторженно: видимо, узнала по запаху вещей. Муж, однако, как я и предполагала, Рониного восторга не разделил: обиделся, что собаку взяли без него, а теперь еще и не воспитываем: пол залит, соседи на шум жалуются, гостей принять невозможно. Я взялась за воспитание Роньки: стала ее щелкать по носу газетой – не помогало, тогда стала лупить по попе. И вот однажды вхожу в комнату: собака на диване – около дивана лужа. Ругаю ее, беру ремешок и вижу, что лежит Ронька и дрожит мелкой дрожью. Так с радикальным воспитанием было покончено навсегда.

С двух месяцев собака спала в ногах у сына, а через несколько лет, когда у него началась аллергия, вернулась на мой диван. Сын со щенком был очень нежен, звал ее «девонька», просил иногда: «Мам, посидите с Роней у меня, пока я уроки делаю, – от вас тёпло на душе». Но при этом случались у них и «мужские» игры: он мог ее поставить на шкаф или на холодильник, сделать ей «темную», нарочно разозлить. А злилась Ронька месяцев с четырех быстро и яро. Выпучивала свои и без того большие сине-черные глаза, в которых белка видно не было, делала выпады вперед и заходилась от лая.

* * *

У Рони была очень красивая мордочка, а сама она, хотя и маленькая, дома казалась значительной. Все менялось, стоило ей выйти на улицу. Там она превращалась в тощего испуганного зверька непонятного происхождения. При этом у народа она неизменно пользовалась популярностью, хотя прогулки наши исчислялись почти секундами. Глядя на нее, я с изумлением обнаружила, что животные подвержены тем же психическим расстройствам, что и люди. У собаки явно прослеживалась мания преследования. Она ненавидела гулять в темноте, но и днем, торопливо сделав все необходимое, Ронька, задыхаясь от ошейника, яростно тянула в сторону подъезда. Она нетерпеливо оглядывалась, чихая и кося фиолетовым глазом. «Вороной! – смеялись ребята-студенты. – Смотри, какой рысью идет!» «Смесь собаки с петухом!» – припечатывали другие, глядя на Ронькин хвост: он странно лопушился над ее худым короткошерстым телом.

У нее были непропорционально длинные ноги и редкая прыгучесть. Дома она до последних лет жизни брала с места в карьер высокое кресло около пишущей машинки, а позже – компьютера, легко перемахивая через подлокотник. На улице ланью перелетала через загородки. «Что же это за порода такая?» – не без зависти к Ронькиному изяществу интересовались полные немолодые женщины. А привязанная около магазина, собака исправно собирала толпу. Она жалобно визжала и прыгала во все стороны, обматываясь поводком.

– Такую собачку могли бы и с собой взять…

– Вон, мальчик вышел, а она все плачет…

– Ну и что? Она к маме хочет…

* * *

О том, чтобы с кем-то познакомиться, уж не говорю – подпустить поближе, для Рони вопрос не стоял: ее страх и нервы перешибали любой инстинкт. Она так и осталась «в девушках», но ее любовь к нам отчасти носила материнский характер. Стоило сыну позвать меня из соседней комнаты, Ронька спешила к нему первая. Ее любимым занятием было нас вылизывать. Все ее гоняли, и доставались ей обычно неприкрытые и беззащитные щиколотки сидящего за письменным столом человека. Вылизыванием она занималась с самоотдачей, пока не начинала задыхаться.

Ронька была страшно ревнива. Стоило кому-то сесть рядом, не приняв ее в компанию, поднимался страшный визг; про гостей

я уже говорила. Не выносила она, если разговаривая, закрывали дверь в комнату: скулила, скреблась, а как только дверь открывали – поворачивалась и уходила. Но стоило снова закрыться – история повторялась. Роня любила, чтобы все было «под контролем».

Вообще ее упорство и воля поражали. Она была уже очень старой – лет пятнадцать – но могла еще прыгать, хотя от остеохондроза у нее иногда отказывали задние лапы. И вот я решила отучить ее впрыгивать на высокий диван. Говорила «фу», а сняв ее, клала вкусное на подстилку, но Роня хотела на привычное место. Битый час мы развлекались тем, что она впрыгивала на диван, а я ее снимала и приваживала к подстилке. Как обычно, она победила, а на следующее утро у нее в очередной раз отнялись задние лапы.

* * *

Болела Роня много и сильно. Каждый раз врачи предупреждали, что может не выжить. А кроме того, она и «по жизни» была невероятно аварийной: ее болезни возникали буквально на пустом месте.

Первым мы пережили энтерит. Ей было шесть месяцев. Ее наконец стали выводить на нормальные прогулки. Стоял февраль, на земле можно было найти много интересного, к тому же – подмороженного, стоило только разгрести черным кожаным носом белый и влажный снег. Все найденное Ронька самозабвенно поедала. Прививки у нас сделаны не были. Не только наша соседка-дрессировщица, многие меня предупреждали, что от российских прививок щенок может умереть. Где искать импортные, я не знала.

Две недели я спала урывками, днем, после работы, потому что ночью приходилось держать собаку на руках в одеяле. Так она не пыталась встать, не мучилась кровавым поносом, вместе с которым из нее выходили куски кишечника. Дважды в день надо было возить ее на капельницы и уколы. Утром, до работы, ездила я одна, а вечером – с сыном. Мы поняли, что, похоже, Ронька выкарабкается, когда она впервые за болезнь попыталась ухватить за палец врачебную руку со шприцем. Когда мы выходили из кабинета, врач не без сочувствия спросил: «Ради мальчика собаку выхаживаете?» Я не нашлась, что ответить. Выхаживала я ее просто ради того куска жизни, который в ней был. А мне его вручили для хранения. Вот и все.

* * *

И до болезни наша ярая Роня была вегетерианкой – сырое мясо сразу стала отодвигать на края миски. После энтерита это закрепилось окончательно. Страстно любила квашенную капусту и бананы. А на даче поедала клубнику с грядки, запивая парным молоком – «казенное» стала потреблять лишь в старости.

За городом Роня впадала уже в полное неистовство. Если мы шли по полю к молочнице, она носилась по нему так, что казалось, у нее может случиться разрыв сердца. Если на наш участок заходили чужие, она готова была разорвать их в клочья. И, наверное, очень удивлялась, что ее ругают и запирают в доме: ведь она изо всех своих мелких сил старалась нести вахту. Когда мы уходили и она оставалась одна, она не лаяла, не визжала, а тоскливо и протяжно выла. Услышав пару раз этот вой, мы старались не доставлять соседям лишний раз такого удовольствия. Однако поездки на дачу пришлось прекратить, и последние годы Роня оставалась летом в городе, потому что почти каждая из них кончалась операционным столом.

То у нее началось нагноение на горле, открылся свищ, и, когда его чистили, обнаружили прилипшую к гортани травинку. Следующим летом у свекрови на даче вдруг поднялась температура, и они с домработницей и собакой спешно эвакуировались. В метро на эскалаторе Роня стала елозить на руках, требуя, чтобы ее спустили, что свекровь и проделала: домработнице она Роню не доверила. Более доброго и безобидного человека, чем свекровь, я никогда в жизни не встречала и, наверное, вряд ли встречу. Роня очень ее любила, но вила из нее веревки. На эскалаторе при сходе собачья лапа въехала в металлические зубья. Когда я пришла забирать из метро всю троицу, вид их был страшен. Домработница сказала, что Роня истошно кричала, эскалатор остановили и их всех чудом не затоптали. У свекрови было предынфарктное состояние. Роне ампутировали остаток пальца.

* * *

Следующей летней акцией стало гнойное воспаление матки. Диагноз сначала поставили по телефону – артрит – и он оказался неправильным. А уже в Москве, когда ее разнесло, как на последнем месяце беременности и на полу стали оставаться кровавые капли, мы с сыном повезли ее на ультразвук, а оттуда перенесли в соседний кабинет на операционный стол. Начались

долгие недели перевязок и хождения в наскоро сшитом мной бандаже: собака очень ловко изгибалась и начинала зализывать себе шов, отчего он никак не зарастал. Наступившим летом везти собаку на дачу мы уже не решились – в Москве будет сохранней. Мы ошиблись, но все-таки несколько лет передышки получили.

В год, когда мы похоронили свекровь, было решено сдать ее квартиру, находившуюся с нами в одном подъезде. Надо было перенести к нам книги и часть мебели. Роньку, чтобы не путалась у грузчиков под ногами, я закрыла в одной из комнат. Она по обыкновению атаковала запертую дверь с бешеным лаем, который длился столько, сколько она сидела взаперти. Результатом стала грыжа, которая выскочила примерно там, где находилась удаленная матка. Опять надо было резать живот по старому шву, делать общий наркоз, а собаке исполнилось одиннадцать. Опять были перевязки, и опять пригодился сшитый из байковой детской пеленки бандаж. Все манипуляции над собой Роня позволяла производить только с туго перевязанной бинтом пастью: скрученным белым жгутом мы выписывали на ее морде и шее «восьмерку», закрепив бантиком на холке.

* * *

Кормление собаки считалось у нас женским делом – сын давал ей еду от случая к случаю, он, как правило, ходил с ней гулять и следил за наличием воды в ее блюдце. Но он всегда первым замечал любой непорядок с собакой. И тут он сказал: «Мам, у Рони растет опухоль под глазом». Я отмахнулась, но через пару дней отрицать очевидное стало невозможно. В ветклинике нам сообщили, что у собаки флюс, сильное нагноение и надо срочно удалять несколько зубов. Ей было к пятнадцати годам, и врач предупредил, что из общего наркоза она может не выйти. Операцию делали под присмотром ревматолога. Когда мы вернулись домой, я отнесла почти бездыханную Роньку на диван в темной комнате и пошла снимать пальто. Через минуту мы услышали странный шлепок, вслед за которым в коридоре, раскачиваясь на худых коричневых лапах – их сын за схожесть называл «сухие ветки» – в полной прострации появилась Роня.

А вскоре ее впервые парализовало. Она не могла встать с подстилки, задние лапы не разгибались – их как будто заклинило. Она не ела и молча смотрела на меня огромными черными глазами. Я смотрела на нее и капала слезами, а сын, как всегда, организовывал «оживление». И она встала, в промежутках между обострениями остеохондроза проявляя свою прежнюю прыть.

Теперь у нас наготове всегда был набор таблеток и ампул. А жизнь наша стала если не веселее, то легче, когда мы наконец смогли купить маленький кожаный намордник: капиталистический способ производства проявлял отзывчивость к нуждам отдельных граждан. Собака обычно чувствовала, что грядет укол. Летом она пулей вылетала на балкон или, если бывало холодно и спастись было негде, огрызалась из угла. И прежде, чем намордник удавалось застегнуть, иногда приходилось накрывать ее одеялом, чтобы просто взять на руки.

* * *

Когда сыну было двенадцать, я обнаружила, что в семье ожидается прибавление. «Девочка», – твердо сказала одна из акушерок до всех ультразвуков. И оказалась права. Можно представить, какой ужас меня охватил перед Рониным характером. Постепенно я заразила им всю семью, но отдавать собаку нам и в голову не приходило, да и кому ее такую отдашь? О том, что нас ждет, когда ребенок начнет ходить, я предпочитала не думать. И тоже оказалась права.

Роня побаивалась дочку. Зная свой вспыльчивый нрав, с большим запасом огибала упавшую из кроватки игрушку. То же повторилось и позже, когда девочка стала ходить. Собака боялась приблизиться к ней, никогда не лаяла, если дочь брали на руки или занимались ею, забыв про Роню. Но отступала она ровно до тех пор, пока не поняла, что дочь выросла.

Когда дочери исполнилось два года, с Рониной помощью она научилась говорить. Как-то слышим, из комнаты доносится: «Оня… Лоня… Уоня…» «Букву «р» произносить учится», – догадался сын.

Дочка с детства относилась к собаке с полным пониманием, принимая все ее качества как данность. Мы всегда смеялись, когда удавалось подловить Роньку во время утреннего чесания спины. Она бешено каталась по дивану, делая смешные гимнастические упражнения для позвоночника, и замирала на полувздохе, если замечала, что на нее смотрят. «Пошли, – строго сказала однажды девятилетняя дочь. – Она стесняется: считает, что это женское». Дочь уважала, что Роня здесь появилась на два года раньше. Тогда же, после просмотра по телевизору «Дог-шоу», дочь деловито спросила: «Мам, а нельзя организовать «Дог-шоу» для собак, которые мало что умеют?»

В четырнадцать дочка увлеклась фотографией, и ее самой главной моделью стала Роня. Только собака всегда боялась

вспышки, даже если сидела во время «сессии» у меня на руках.

* * *

Дети взрослели, а собака старела. Однако набор болезней Ронин организм исправно продолжал разнообразить. У нее кончились параличи, но началась тяжелая эпилепсия. Припадки были, что называется, «большими». Все ее утлое длинноногое тело сжималось и разжималось как будто в бешеном беге. Она спала со мной на диване, и, когда это случалось, обычно часов в шесть утра, я просыпалась от того, что диван подо мной ходил ходуном.

Приступы были долгими, потом несколько часов собака не могла справиться с возбуждением и ходила, ходила по квартире, натыкаясь на предметы и стены, упираясь в углы, заходя в узкую щель между стеной и холодильником. На кухне появились батареи новых таблеток, постепенно мы научились снимать возбуждение после приступа и, если он случался ночью, могли сами хоть немного доспать.

Сын как-то сказал: «Ронины проблемы в том, что она все время хочет быть человеком». Ронька, действительно, во всем была непроста: собачьи противосудорожные вызывали у нее тяжелую аллергическую астму (ветеринар-невропатолог сказал, что с таким он не сталкивался), а человеческие ей не очень помогали. Постепенно, на свой страх и риск, мы их меняли, добавляли гомеопатию, витамины, сосудистые препараты.

У страшной и мучительной Ронькиной болезни для нас было одно положительное следствие – у собаки вдруг сделался хороший характер. То ли у нее не стало сил на постоянную борьбу с миром, то ли мир этот наконец перестал казаться ей таким опасным, но только она резко подобрела: перестала нервно откликаться на любые внешние раздражители, приветствовала приходящих дружелюбным виляньем хвоста, после чего мирно отправлялась в свое «гнездо» – так мы называли ее новомодный лежак с бортиками. То есть не прошло и шестнадцати лет, как наша Ронька превратилась в нормальную, вполне вменяемую собаку.

Я часто уезжала: то по работе на несколько месяцев, то просто отдыхать, и каждый раз говорила ей: «Дождись меня, пожалуйста». И она дожидалась. О Роньке я могла рассказывать часами – и близким, и чужим. И вот как-то один старый человек мне посоветовал: «А вы напишите о ней». Мысль мне понравилась, но я думала: напишу когда-нибудь потом, когда все

связанное с ней отойдет подальше. Думала я так, думала, и вдруг меня толкнуло: что же это я, выходит, жду ее смерти? И я решила немедленно, в первый свободный месяц сесть и написать. Но тут она и умерла.

* * *

После двух тяжелых приступов – они прошли подряд – собака с трудом оклемалась. Сутки не ела, задыхалась. Но все понимала, молча глядя на нас своими глазами без зрачка. Нам говорили, что мы зря мучаем собаку – надо усыпить – может, так оно и было, но пока она все понимала, об этом для нас не могло быть и речи. Ей начали колоть очень сильные лекарства. А нам уезжать, правда, ненадолго. Кололи три дня, каждое по три раза, и Ронька, наш тощий черный «феникс» – опять воскресла. С ней, как всегда в последние годы, осталась родственница. Жили они тихо, по режиму, без громкой музыки, телефонного трезвона, гостей и ночных бдений – и все прошло спокойно.

Сын как-то сказал: «Роня с Ириной не болеет, потому что за Ирину она не отвечает». Он был прав: за нами нужен был глаз да глаз. Вернулась я в Москву первой, и, как всегда, у дверей меня встретила вполне бодрая Роня. Собака хорошо ела, одышка почти прошла, она даже стала лаять, прося добавки. Вообще в еде Ронька была очень деликатна, но противосудорожные таблетки, не очень помогая по своему прямому назначению, исправно вызывали у нее побочные эффекты и одним из них был повышенный аппетит.

Был конец августа, и вдруг наступила страшная жара – градусов тридцать. Три дня собака держалась, а на четвертый одышка стала стремительно нарастать. Я ее колола, сажала под вентилятор, на ночь открыла настежь все окна в квартире, постоянно мочила ей шерсть, но уже ничего не помогало. Главное – она не могла лечь и поспать – сразу начинала задыхаться. Так и ходила всю ночь по квартире, и все ее маршруты пролегали через балкон – там ей становилось полегче. Она вообще любила на него выходить и по делу и без: стояла подолгу, смотрела на дома, на деревья и вниз – на прохожих.

На следующий день Роня уже ничего не ела, но еще надеялась: жадно слизывала с ложки смешанные с медом толченые таблетки. А к вечеру резко от них отвернулась, отворачивалась и от воды, которую я ей подносила поближе. На руки я ее брала только для уколов – стоило взять ее под брюхо, как одышка превращалась в сильный кашель. И сын, и дочь

звонили каждый издалека и знали, что через эту ночь собаке скорее всего не перевалить.

Мне наконец все же удалось положить ее на лежак – один из них постоянно стоял на кухне, а второй перемещался по квартире по необходимости. Голову ей подняла повыше, на свернутую в рулон старую простыню. Сама накрылась одеялом и села рядом. Собака стала дышать поспокойнее, пару раз пыталась встать – хотела, наверное, на балкон, но сил становилось все меньше. Вдруг она три раза тоненько и тихо пролаяла. А дышать стала еще спокойнее и реже.

Умерла Роня в пять часов утра. Она была очень красивая, и человек, который приехал ее забирать, сдернул простыню и молча на нее смотрел – наверное, не был уверен, что она мертвая. Спросил, будем ли мы ее кремировать отдельно и хоронить. Мне это в голову не приходило – все-таки животное, хоть и любимое. И потом думать, что вот там-то и там-то есть ее могила, было бы только мучительней.

* * *

Прошло всего две недели после Рониной смерти, а у меня чувство, что миновали годы. Так бывает, когда случается что-то очень серьезное – хорошее или плохое. Хотя, входя в квартиру, я по-прежнему жду ее появления в коридоре, убираю тапочки, брошенные кем-нибудь из детей на ее «трассе» к балкону – так я делала много лет, чтобы она не споткнулась. А сын сказал, что все так же боится резко открывать дверь из ванной – под ней Ронька всегда лежала, когда кто-то мылся.

Роня пробыла с нами полных девятнадцать лет и умерла в лето, когда сыну исполнялось тридцать, а дочь поступила в университет. Дети встали на ноги, и теперь она могла уходить.

Прогулка на параплане

Солнце нещадно било в глаза, а песок был таким горячим, что босиком по нему не пройтись. В Турции, недалеко от города Сиде, стоял июль. Море – смеялось, как сказал классик. И смеялось оно надо мной.

Четырнадцатилетняя дочь Аня (длинноногая блондинка – нам это скоро понадобится) твердо заявила, что они с девочками из класса едут в молодежный лагерь в Турцию. Отель хороший, четыре звезды, девочки все знакомые, и обжалованию поездка не подлежит. Сто́ит, кстати, недорого.

Я легкомысленно была не против, но взбунтовался муж: «Да ее просто могут украсть!» – повторял он, нервически прохаживаясь из угла в угол. Под его сердитым оком с оплатой путевки я медлила. Дочь давила, муж тоже. Наконец, решение было найдено: я поеду в тот же отель на треть Аниного срока, обустрою ее быт, а главное, прослежу, как наша компания проводит свободное от купания и еды время.

Поездка мне была неудобна до крайности: пришлось брать липовую справку у врача – до отпуска было далеко. С трудом удалось попасть в тот же отель: свободных номеров почти не оставалось, выгодных российских подростков распорядительные турки распихивали не только в бунгало по шесть человек в домик без окон-без дверей, но и в тех же объемах – в номера главного корпуса.

Прилетела я поздно, искать дочку было бессмысленно. Втащила в номер свой нехитрый скарб – отельные провожатые и сами спать ушли. Но мне покой даже не приснился.

В соседней комнате, как потом оказалось, ребята из Екатеринбурга никак не хотели брать в толк, что спать хочется и на отдыхе. А может, на отдыхе особенно, тем более человеку, вооруженному медицинской справкой. Слышно их было так, будто они расположились на моем балконе. Им было весело.

– Ну чё, народ, вздрогнули? – с угнетающей регулярностью раздавалось за стенкой.

Отчасти утешало то, что все в этой жизни кончается. Однако стоило соседям угомониться, как в коридоре зазвучали шаги и бодрые голоса тех, у кого сон непрошибаемый и кто ведет здоровый образ жизни – они шли плавать перед завтраком.

Только память о миссии, которая на меня была возложена, да всплывающее в полусонном тумане лицо мужа со знакомым укором в глазах заставили меня выйти на свет божий к концу завтрака.

В столовой царил разгром. У столика с напитками я чудом не растянулась, поскользнувшись в их коктейле, припорошенном обрывками макарон. Поев кой-чего, оставшегося от молодежи, отправляюсь искать дочь. На ресепшн мне называют номер ее бунгало, но за незапертой дверью – тишина. Все ушли на пляж – это ясно. Аню я нашла под бамбуковым грибком с ногами ярко-алого цвета.

– Слушай, мам, давай не надо! – сурово оборвала она мои причитания. – У нас свой режим. И вообще будем видеться раз в день, вечером. Заходи после ужина минут на пятнадцать.

Аудиенция была закончена. Вот и организовала жизнь ребенка, обустроила быт!

Перемогшись кое-как день, съев свой одинокий ужин, прихожу в заветное бунгало. Компания собирается на танцы, при этом многие жестоко обгорели: заготовленные в Москве антизагарные кремы почему-то не помогают. Пытаюсь взять ситуацию под контроль: иду в бар, где набираю порций пять отвратительной местной водки – чтобы хватило на всех пострадавших.

– Мадам, опять водка? – отшатнулся от меня на третьей порции бармен.

– Со мной много мужчин, – с вымученно-игривой улыбкой сообщаю я, наполнив за углом до краев большой пластиковый стакан.

Возвращаюсь в бунгало. Там атмосфера накаленная – в прямом и переносном смысле: я их, видишь ли, задерживаю, танцы уже начались, при этом у обгоревших явно повышенная температура.

Чувствуя себя фельдшерицей-народницей конца 19 века, обрабатывающей поочередно одной ваткой с йодом болячки всей деревни, так же поочередно смазываю водкой пылающие спины, плечи и конечности.

Правда, на утро я была вознаграждена. Дочь сама нашла меня за завтраком:

– Мамуль, – смягчилась она, – девочки просили передать «спасибо». Нам помогло. А водку твою старшие девчонки случайно ночью допили – думали вода, – добавила Аня.

Окончательно осознав, что быт мне придется обустраивать только свой собственный, я вдохновенно принялась ездить по Турции. Передо мной взмывали скалы с выдолбленными в них древними монашескими кельями; подо мной, подернутые аквамариновой средиземноморской рябью, громоздились затонувшие города; а мимо меня медленно проплывали пещеры пиратов и грандиозные античные развалины. О такой Турции я не

подозревала.

Я ела турецкую пиццу, лахмаджун, на террасах крошечных семейных ресторанчиков, где крышей служит решетка, по которой вьется виноградная лоза. Сидела в маленьких кофейнях, запивая глотками горького кофе плавающую в медовом сиропе пахлаву. Бродила по пыльным закоулкам бесконечных рынков, где галантные турки дарят одиноким женщинам расшитые золотом наволочки или стеклянные синие глаза-обереги.

Незадолго до моего отъезда в Москву дочь опять выросла передо мной в ресторане и с присущей ей определенностью объявила:

– Мам, мы с Машкой хотим полетать на параплане, а без взрослых не разрешают.

Ага, мои хорошие, подумала я, настал и на моей улице праздник. Хоть на что-то сгожусь!

День был не самый жаркий. Солнце в перламутровом небе то пробивалось через желтоватые облака, то вновь скрывалось в невидимой раковине.

На катере с парапланом всем заправляли два подростка: один красавец-турок лет шестнадцати, и другой, помоложе – этот свободно говорил по-русски. Нас усадили рядком на дощечку и плотно приторочили к ней ремнями. На всякий случай спросили про вес, хотя и на глаз было ясно, что в 150 килограмм мы втроем легко умещаемся. Взялись мы руками за канаты, как на качелях, – и понеслось.

Мы медленно взмывали к жемчужному небу. Мутное солнце неотвратимо приближалось. Дух захватывало так, что я боялась повернуть голову: от восторга и ужаса было чувство, что при любом лишнем движении воздуха может не хватить. Нас накренило.

– Тетя Оля, – бодро прощебетала Машка, – а посмотрите вниз – как круто! Море как будто выливается за горизонт из большой тарелки!

Я скосила глаза вниз и увидела беспомощно болтавшиеся над бездной босые ноги моих спутниц – у дочки подлиннее и посветлее, у Машки – покороче и посмуглей. Ноги безмятежно шевелили пальчиками.

– Ох, Машка, – неопределенно выдавила я.

Легкий бриз кончился. Мы парили в полной и парной тишине. Мотор затих. «Наверное, мы слишком высоко, – подумала я, – и его не слышно». Но уже через пару минут стало ясно, что мы начали неожиданный спуск.

Девочки мирно беседовали и крутили головами, я же до рези в ладонях вцепилась в боковые канаты. Нас явно относило к

берегу. Вот уже прямо под дощечкой с намертво прикрепленными к ней нашими утлыми попами видны крытые бамбуком грибки на пляже. Они ближе, ближе… А вот под нами – шпиль нашего пляжного кафе. Девочки замолкли.

Люди задирали головы, толстый загорелый мужик, стоя поворачивавший свои пережаренные окорока навстречу едва пробивающемуся солнцу, раскинул руки и бодро закричал:

– Деучонки! Не бойтесь! Я вас лоулю!

Я зажмурилась. Последняя трезвая мысль была: «Идиотка, зачем я сюда приехала?!»

Но чудеса случаются – недаром я в них еще верю. Неожиданно послышалось бурчание мотора на катере и мы опять плавно стали взмывать вверх – теперь уже чтобы столь же плавно опуститься в положенном месте – на его корме.

В голове было пусто и гулко, а во рту – будто незрелой черноплодки объелась. Девочки снова о чем-то заворковали. Мне вдруг все сделалось совсем «по барабану». Мы «приземлились».

Когда младший парень отстегивал наши ремни, я его вяло, не своим голосом, спросила:

– Почему мы стали на пляж опускаться? – В ушах гудело, ноги не слушались.

– А, – махнул он рукой и, ухмыльнувшись, добавил: – В рекламных целях!

За что любят мужчины

Почему-то у меня такая планида: чем хуже выгляжу, тем больше мужчинам нравлюсь.

Помню, ехала как-то с работы – а работала под Москвой, вставать приходилось ни свет ни заря, под глазами мешки, цвет лица типа «грязный снег», потому что дело было зимой, а у меня было 36 часов в неделю занятий – меня как раз взяли на работу под только что прибывшую группу студентов из Вьетнама. Преподавать русский как иностранный.

Так вот еду домой, готовлюсь в метро к занятиям на завтра. Глаза слипаются, сонно встряхиваюсь – и опять в книжку. Тут голос справа: «Девушка, вас как звать?» Гордо молчу, дескать, я не из таких. Снова: «А едете куда?» Молчу. «Девушка, я недавно фильм шведский видел – вы очень на шведку похожи». Опять молчу. «Девушка, извините за любопытство, а какую книжку читаете?»

Тут я так же молча закрываю книгу и даю соседу прочитать название на обложке. На ней написано: «Четырнадцать уроков по развитию речи». Была такая популярная у преподавателей тонкая синяя книжечка для иностранцев. Очень дефицитная. Коллега на неделю одолжила.

Мужчина справа, онемев, поерзал на сиденье, потом, перед «Театральной» вдруг вскочил и, пятясь, стал двигаться к выходу, как будто кланяясь и приговаривая: «Ох, девушка, простите, пожалуйста! Простите!»

Тонкой души человек оказался. Решил, что это я говорить учусь. Причем не на иностранном, а на родном.

Или еще случай. Когда я была беременна старшим сыном, мы совсем на мели сидели в смысле финансов. А прямо перед его рождением вдруг все поперло – и из земли, и с неба. Родился он в августе, так на даче созрело столько яблок и слив, что мама, брат, жена брата не успевали перерабатывать. Я-то выбыла из игры. Под деревья ставили корыта, детские ванночки, расстилали клеенки и все было завалено, и такое было вкусное! Впервые на моей памяти столько уродилось.

Это перло из земли. С воздуха же стали падать деньги. Я тогда репетиторством подрабатывала, так ближе к родам ученики повалили – в количествах дотоле незнакомых. Сижу с утра до вечера на уроках, а живот к изумлению очередного абитуриента яростно колышется вправо-влево, вверх-вниз. Сын еще в утробе был очень энергичным ребенком. Иногда от усталости я свирепела. До сих пор стыдно, как на милую девочку из Фряново

я вопила: «Так кто ж там реально мертвые души – неужели неясно?!» Девочка испуганно молчала.

Еще вдруг посыпались деньги за публикацию сказки мужа. За одну и ту же грустную сказку о непослушном щенке с плохим характером, в котором я без труда узнавала себя, он получил несколько гонораров и в советских рублях, и в валютных чеках. Да еще Щен ухитрился войти в антологию мировой сказки где-то в Чехословакии. И я наконец сшила себе два красивых ситцевых платья, присборенных под грудью, чтобы огромному животу и сыну в нем вольнее дышалось. А до того, до самой середины лета, я всю беременность проходила в старых джинсах мужа, много раз подвернутых снизу, поскольку у нас с ним заметная разница в росте. Ширинка в них делалась все более расстегнутой по мере укрупнения моего живота, а сверху джинсы крепились на подтяжках. На это сооружение я надевала укороченное «под тунику» шерстяное темно-синее платье свекрови. Темно-синий и всегда-то был не моим цветом, а тут в соединении с синими подглазниками и общим потрепанным видом, украшением и вовсе не служил. Хотя я старалась жить по режиму и во всяком случае ежедневно выгуливалась – либо одна, либо с помощью кого-то из близких.

И вот как-то в конце весны иду себе в этом прикиде не торопясь вдоль Ленинградского проспекта, потею и привычно дышу выхлопными газами. Недалеко от дома вижу сзади тень – движется на одном расстоянии, ни ближе, ни дальше, видимо, в качестве сопровождающей. Живот мой, однако, и сзади уже ни для кого не секрет. Наконец тень настигает мою и тихий вежливый голос без обиняков спрашивает: «Девушка, вы замужем?»

Изумленно поворачиваюсь. И на девушку не тяну, и скорее всего, замужем. Вроде, заметно. Рядом идет невысокий молодой человек, если не кавказской, то какой-то явно южной национальности. Говорит, однако, без акцента. Удивление заставляет вступить в беседу: «А не видно?» – «Вы не обижайтесь. Раз одна гуляете, беременная, может, и не замужем». – «Не угадали. Муж на работе» (что было чистейшей воды неправдой – муж еще учился). – «Ну, может, вам защита понадобится…» – «От таких, как вы?» – «Да не сердитесь. Просто жалко вас стало».

Хотя вообще муж часто со мной гулял, мне почему-то тоже стало себя жалко. Причем глобально. И что одеть нечего, и что с мужем ссоримся, и что мама в детстве на меня сердилась, и что сейчас волнуюсь, в порядке ли будет ребенок. Короче, я позорно шмыгнула носом и ускорилась, в прямом смысле насколько положение позволяло.

Жалостливый юноша остался позади, а в душу закралась недобрая советская мысль: может, он бабу ищет с московской пропиской? Но вопрос этот навсегда остался без ответа. Догонять меня молодой человек не стал.

Однако рекорды собственной популярности я била с помощью ячменей. Бывали у меня в жизни сложные периоды, когда имунная система сдавала и ее нервные позывные пузырились на красных истерзанных веках. «Ячменной» особенностью в моем исполнении было то, что они отказывались вскрываться и их приходилось удалять хирургически. Удовольствие ниже среднего. Под веко ставится распорка, и хирург кривыми ножничками под несильным местным наркозом выстригает затвердевший шарик. Однажды у меня количество этих холязиумов дошло до десяти одновременно.

Но жизнь компенсировала меня одним странным способом. Некоторые мужчины их не просто не замечали, а, возможно, в этих ячменях для них крылась какая-то магическая сила. Короче, у кого во лбу звезда горит – у меня же на глазах горели красные фонари ячменей. И это было мое тайное и могучее оружие, которое я всеми силами старалась побороть.

В начале девяностых я привезла из-за открывшейся границы некую диковинную лихорадку. Температура поднималась аккуратно вечером пятницы – 39,5. В субботу я была «вне зоны действия», а к вечеру воскресенья полностью приходила в себя. В понедельник, уже огурцом, была готова к труду и обороне. Однако попутно пора было собирать и урожай моей злаковой культуры. Как-то я вернулась с очередного удаления затвердевшего зернышка с перебинтованной половиной головы и в изнеможении рухнула на диван. Ко мне подошла едва научившаяся говорить дочка, обняла и заплакала.

«Ты что, зайка?» – спрашиваю. – «Папа сейчас прийдет и скажет: зачем мне такая резанная мама?» – не унимаясь, стенала надо мной мудрая не по годам дочь. С папой мы, и правда, частенько ссорились, только не по причине моих внешних несовершенств, а больше из-за творческих исканий самого папы. Да и делать это старались в удаленных местах, так что опасения дочери были основаны скорее на ее врожденном женском чутье.

На днях позвонили знакомые из Германии: статья мужа вышла в престижном журнале. В редакции дали несколько экземпляров, их передаст немец, остановившийся в соседнем с нами доме. Вот телефон, немец хорошо говорит по-английски. Звоню, договариваюсь. Оперированное веко еще опухшее и синеватое, а на другом глазу уже на подходе новое зерно. Но муж один идти не может – он по-английски говорит с трудом.

Поэтому, буквально не взирая на лица, идем вместе.

Остановился немец в квартире на первом этаже. На звонок открывает высокий блондин лет сорока, а дальше ведет себя странно. Войти не приглашает, но улыбается по-доброму. В узкой захламленной прихожей горит ярко-желтая лампа. Стоим. Потом он спохватывается, уходит в недра квартиры и возвращается с длинной коробкой, завернутой в серую бумагу и щедро заклеенной скочем. Берем через порог. Благодарим, раскланиваемся, идем домой.

Коробка вызывает удивление. Кроме нестандартного для журнального номера размера, она еще и по-настоящему тяжелая. Дома жадно, в четыре руки, ее обнажаем. Коробка голубая, как небо, и зеленая, как трава. Уже без особого изумления понимаем, что в ней скрывается ручная газонокосилка. Однако для точности все же трясем коробку: внутри что-то добродушно погромыхивает, но ничего похожего на спрятанные там номера журнала не прослушивается. Стандартное предположение мужа – это я все напутала: или пришли не туда, или немец не тот: мало ли их теперь живет по окрестным домам! Звонить в Мюнхен знакомым неудобно; мы чувствуем себя дураками, с чем и ложимся спать.

На следующий день знакомые звонят сами. Приносят кучу извинений – от себя и от немца. Он сказал, что пришла женщина такой нечеловеческой красоты, что он смешался и все перепутал. А наши журналы поступили как раз тем, кто надеялся на газонокосилку. Неся их домой, люди, наверное, думали, что это супер портативная косилка, для травы в ящиках на балконе.

Все разрешилось. Минуя немца-любителя ячменей, муж обменялся с истинными владельцами красивой коробки, обретя свои долгожданные журналы. А я подумала: может, у немцев любовь к ячменю стала просто генетикой? Хоть это и противоречит теории Менделя.

А вообще это я все к чему? Вот, говорят, мужики злые, эгоисты. А они ведь туда же: кого жалею – того люблю.

Виргинский диптих

Крик африканского орлана

Когда я познакомилась с Маргарет, ей было восемьдесят пять. Сухая, высокая стриженая старуха с умными глазами и ясным умом. Она стала моей учительницей английского – была такая форма благотворительности в местной виргинской библиотеке. Для пенсионеров и иностранцев: и старый человек чувствует себя при деле, и его подопечный денег за уроки не платит. А так как в здешнем колледже было немало приглашенных из-за границы, то и работы на многих стариков хватало.

Я сама преподаватель и понимала, что профессионального в наших встречах было мало, но мы подружились; для меня приход к Маргарет был отдыхом. В США в середине девяностых я попала впервые, язык знала неважно, очень напрягалась и на работе, и дома: в еще более нервном состоянии, чем я, находились моя пятилетняя дочка и приехавший со мной муж. Дочь пошла в городскую школу, зная лишь четыре фразы: «Меня зовут Аня. Я из Москвы. Я хочу к маме. Где туалет?» А муж ждал первого полноценного контракта на перевод своей книги и мучался по полной программе – ждать у него всегда получалось плохо.

Жила Маргарет в небольшом кирпичном доме на тихой красивой улице. Переехала сюда недавно, когда овдовела. Почему именно в этот город – обьяснила сразу. В десяти километрах на хуторе живет дочь с мужем. А сама Маргарет в этом городке и в нашем колледже училась во время войны: в 1942 году при университете открылись летние военные курсы для женщин, куда были зачислены 24 волонтерки, она в их числе. Потом эти пробные курсы переросли в постоянные, действовавшие во все время войны: готовили медсестер, связисток и другой обслуживающий персонал. С тех пор Маргарет не забывала старинный кампус в долине Шенандо, окруженный лесистыми горами, а когда вышедшая замуж дочь обосновалась поблизости с пятью собаками и тремя лошадьми, решила, что умирать поедет сюда.

После полугода занятий Маргарет вдруг сказала, что будет рада, если с сентября я поселюсь с дочкой у нее: одной ей скучно, а места в доме много. Условие лишь – чтобы муж только приходил в гости. Это совпадало с нашими планами: муж должен был остаться в Москве по издательским делам, а к нам приехать на долгие рождественские каникулы. На территории кампуса в те времена была удобная гостиничка, ценой пять долларов в сутки – теперь и поверить трудно. Короче, я с радостью согласилась: это была огромная экономия, да и дочь, уже прилично подучившая

английский, могла сама ходить в школу, а потом быть под присмотром «бабу́шки», как гордо называла себя Маргарет.

У меня даже было подозрение, что отчасти благодаря дочери нас и пригласили: Аня была обаятельным и умным ребенком, пару раз я ее приводила с собой на уроки, а Маргарет очень сокрушалась, что ее собственные дети, рожденные ею во втором браке после сорока, упорно не желают обзаводиться потомством. И, может быть, надеялась на ненавязчивую Анину рекламную миссию.

И вот мы у Маргарет. В нашем распоряжении оказался просторный бейсмент – полуподвальное помещение с собственным санузлом и кухней – и гостевая комнатка рядом со спальней Маргарет. Там иногда спала Аня, мне же мешало радио, которое Маргарет запускала ни свет ни заря.

Маргарет была американкой в первом поколении: отец приехал из Швеции, мать – из Норвегии, и сохраняла европейские повадки. С удовольствием рассказывала о единственной поездке с родителями в Европу – на юг Франции: о запахе цветущих полей лаванды, о вкусе французских пирожных и цвете воды на Ривьере. Еще она, в отличие от американцев, не стеснялась своих слез: плакала Маргарет, вспоминая родителей, Лонг Айленд и мужа.

«Он был очень добрый, хороший человек, и прожили мы счастливо почти сорок лет. Детей любил. Вообще Сэм из богатой семьи – его отец был юристом, компаньоном будущего президента Никсона. Помните дело Уотергейт – прослушку демократов? Сейчас это всем нипочем, а тогда такое раздули! Сейчас все больше про сперму Клинтона беспокоятся и какой у него формы пенис – а тогда была еще нормальная страна. Политика волновала, а в штаны к президентам никто не лез.

Никсон был из шотландского септа, очень бедного, из квакеров. Его приняли в Гарвард после школы, но поступил он местный калифорнийский колледж: денег на билет до Бостона у них не хватило. Кстати, они всех детей назвали именами английских королей, а Ричард был в честь «Львиного Сердца». С моим свекром работал перед войной, когда стал адвокатом по решению корпоративных дел. Его называют «непредсказуемым», а он один все войны закончил, в том числе и «холодную» с вами, с СССР. Кстати, у Ричарда Львиное Сердце было и второе прозвище – «Да и нет». Тоже, значит, не очень был предсказуемый…»

Маргарет заливисто смеется. Вообще любит острить, реакция, как у большинства американцев, мгновенная. Потом показывает мне фотографии мужа: добрая улыбка, нос башмаком, красиво вьющиеся седые волосы и большие очки в темной оправе.

Незадолго до нашей встречи Маргарет упала в ванной и сломала шейку бедра, поэтому теперь моется «по частям», голову – только в парикмахерской. Ходит по дому с ходунками или с палочкой, но на машине все еще ездит. За продуктами мы с ней будем ездить вместе и до поры до времени брать с собой Аню – для ее же развлечения. Но однажды на повороте от супермаркета Маргарет не заметила едущую наперерез машину. В ужасе газанула на горке, вылетела на тротуар, порвала шину, помяла диск и первым ее вопросом был: «Больше никогда со мной не поедете?» Я с минуту поколебалась: «Поеду, но без Ани». Проезжавшая своей дорогой машина чудом не врезалась как раз в тот бок, где сидела дочь.

Главная подруга Маргарет в ее одиночестве – кошка Саша. Как она обзавелась этим русским именем, неясно. Может, и оно ассоциативно или мистически тоже подтолкнуло Маргарет к тому, чтобы пригласить нас к себе. Саша по повадкам больше напоминает собаку. Ходит за Маргарет по пятам, ждет ее, положив лапки на нижний наличник стеклянной двери, когда Маргарет выходит на улицу. Время они обычно проводят вместе: Саша на коленях у Маргарет, а сама она у стола за отгадыванием сканвордов. В России тогда это развлечение было не очень известно, и Маргарет пыталась меня к нему приохотить, считая это полезным для моего словаря. Но как-то дело не заладилось, и на сканвордах они сосредоточились опять с одной лишь Сашей.

«Жутко тоскливо, особенно осенью, – жалуется Маргарет. – Вот Стефани, дочь, рядом, приезжает каждый день, а то и муж ее заглянет. Он красавец, Майкл – вы его видели. Недоучка, правда. Родил ребенка на втором курсе и бросил колледж. Но и на женщине той не женился. У Стефани с его дочерью прекрасные отношения, а своих детей не хочет. Почему – не спросишь, у нас не принято в душу лезть, даже и к собственной дочери. Как-то она сказала: «У меня животные вместо детей». Но разве это сравнишь? Стефани по образованию ветеринар, кончала Корнелл, хороший университет. Как отец купил ей небольшую пони в десять лет – с тех пор вся жизнь связалась с лошадьми. Она ездит в клинику, где лечатся дети с церебральным параличом, участвует в программе по реабилитации. Есть мнение, что езда на лошади таким детям способна помочь.

Я слышала, у вас в России принято жить со стариками. Это гуманно. А с другой стороны – я бы всегда знала, что я им с Майклом в тягость. У них и так тесно, свои проблемы, Майкл вечно ищет работу – без образования трудно удержаться в приличном месте. Если бы были дети, я бы свое отработала, а так…»

У Маргарет старая красивая мебель, доставшаяся ей еще от родителей: огромный с резными створками буфет черного дерева, такой же обеденный стол персон на 25. В уголке стоит раскладная подставка для книги, напоминающая пюпитр. На ней старое издание Оксфордского толкового словаря, всегда раскрытого на той странице, какая была перелистнута ее мужем незадолго до смерти.

Всю жизнь Маргарет прожила на Лонг Айленде, в паре часов езды от Нью-Йорка и полжизни проработала там в одном из Исторических музеев, перед вторым браком стала его директором. В отличие от большинства американцев, никуда не переезжала в поисках новой работы.

Кроме Стефани, у нее есть еще сын Алан, на два года старше сестры. Он энтомолог, живет в Орегоне и спасает леса от «цыганской моли» – непарного шелкопряда. Работает там в Лесной службе. Женат счастливо, но детей тоже нет и не предвидится. Орегон находится на той же широте, что и Виргиния, только на противоположной стороне материка, поэтому приезжать часто у Алана не получается, хотя мать он любит и с невесткой у Маргарет отношения хорошие.

«Моим самым большим изумлением в жизни было первое утро после нашей свадьбы с Сэмом. Мы позавтракали, и Сэм как-то запросто предложил: «Покатаемся?» Я привыкла каждый день работать, и хотя у меня был законный выходной, дел на уик-энд всегда копилось немало. А Сэм, которому отец оставил большое состояние, за работой не гнался. Он был орнитологом-любителем. Его специальность по колледжу никакой роли в его жизни не сыграла.

С работы я вскоре ушла, потому что наконец-то, в сорок лет, впервые забеременела и панически боялась, что случится выкидыш. И еще кормила Алана, а в животе уже шевелилась Стефани. Это было чудо. Судьба благословила наш брак – раньше я была уверена, что детей у меня не будет. Первого мужа я похоронила до войны, и тогда была не девочка. А когда дети подросли и стало не страшно с ними ездить, мы постоянно путешествовали. Сэм, вооруженный своими подзорными трубами, прочим снаряжением, и я с детьми, почти погодками.

В охоте за интересными Сэму птицами мы объездили Юго-Восточную Азию, Африку, Центральную Америку. Я стала потихоньку писать о наших путешествиях, очерки копились; решилась предложить один в лонг-айлендскую газету, к моему изумлению его напечатали – и дело пошло. Потом осмелела и послала в «National Geographic» – очерк тоже вышел».

Когда мы жили у Маргарет, она вдруг снова начала писать – о

поездке в Южную Африку, в парк птиц около городка Хаут-Бей в двадцати километрах от Кейптауна. Очерк о птичьих криках. Помню почему-то об ослином пингвине и об орлане-крикуне – по-английски он называется «африканский рыба-орел». Так может показаться, что он тих, как рыба, а на деле он, белоголовый и белогрудый, с желтым клювом и желтыми лапами – стильная птица – вопит, как толпа рыночных торговок. И женщина тут, кстати, замешана – осложняется дело тем, что он кричит не один, а всегда в компании с самкой. И тогда они поднимают такой гвалт, что хоть святых выноси. Маргарет говорила, что изображение этой птицы есть на гербах многих африканских стран.

Из России я привезла ей синий павлово-посадский платок, затканный красными цветами. Он ей очень нравился, она накидывала его на плечи, и он пользовался неизменным успехом везде, где Маргарет в нем появлялась. «Какая хорошенькая старая дама!» – сказала ей официантка на званом обеде в честь столетия местного гольф-клуба. Почему-то Маргарет состояла его членом. На обед она пригласила нас с Аней и Стефани. Все шло отлично, за исключением того, что Аня подозрительно много ела.

Это был шведский стол, и роль официантов сводилась к замене тарелок и предложению гостям десерта. На подносах стояли шоколадные корзиночки почти в натуральную величину, наполненные черникой, и фаршированные изюмом яблоки со сливками и ромом. Аня безошибочно указала на корзиночку – я похолодела перед возможными последствиями: было уже очень много съедено, и я надеялась, что часть корзиночки останется, но ошиблась. Маргарет сохраняла спокойствие; я и Стефани, не сводя с Ани глаз, следили за методичным исчезновением ягод и кусочков молочного шоколада, из которых была сделана корзинка. «А ты крутая!» – сказала, улыбаясь, Маргарет Ане, когда мы выгрузились из машины. Аня с достоинством промолчала.

Маргарет знала, что когда ей станет трудно одной, она продаст дом и поедет в дом для престарелых – он недалеко. С собой можно взять все, что поместится в малогабаритную однокомнатную квартирку, – все, включая кошку. Но Маргарет отчаянно не хотела и боялась туда ехать, постоянно говорила об этом. И я поняла, что главной причиной нашего поселения у нее был ее страх перед этим неминуемым переездом, попытка его оттянуть любой ценой. Она мечтала, чтобы мы приехали и в следующем сентябре – но мой контракт заканчивался.

Я никогда не забуду глаз Маргарет, когда мы уезжали. Машина сделала круг по двору, а Маргарет с палочкой, стоя в

центре этого круга неотрывно смотрела мне в лицо с такой тоской, что мне стало не по себе.

Вернувшись в Москву, я твердо знала, что попробую работать журналистом. Это моя профессия по образованию, но, защитив диссертацию, я много лет преподавала русский язык, а тут вдруг прорвало. Сразу получилось пойти внештатником в хорошую газету, а потом и в штат попасть. Я принимала этот поворот в своей судьбе как подарок от Маргарет.

Из Москвы, когда случалась оказия заграницу, я ей писала – старалась что-нибудь смешное, посылала конфеты, изредка звонила. Раз от раза ее голос слабел. У Маргарет нашли рак. Но однажды она звучала как прежде: ее очерк о птичьих криках опубливовал журнал «Smithsonian» и Маргарет получила премию за лучшую публикацию года – 10 тысяч долларов! Она была счастлива: смеялась, плакала.

Последний наш разговор был уже из дома для престарелых. Стефани передала матери трубку. Маргарет еле говорила – тихим, срывающимся от слез голосом, тонким, почти детским. «Я прожила здоровую жизнь, не привыкла, когда все болит. Как Анна? Как ты? Собираетесь сюда? Боюсь, уже не увидимся. Я вас очень люблю».

Умерла Маргарет весной. А в сентябре мы приехали, и в соседнем городке на плоской вершине горы, в парке отстояли общую панихиду по всем умершим за прошедший год. Пригласила нас Стефани. После смерти матери у нее случилась еще одна беда: ее подмяла обычно смирная лошадь, которую она седлала. Копытом раскроила лоб. Чудо, что муж оказался дома и ее в тот же день прооперировали в соседнем городе. В нашем медвежьем углу, хоть больница и есть, врачи не оперируют, зато часто летает маленький вертолет – доставляет больных через горный перевал в крупную клинику. Стефани говорит, что врачи сделали чудо: ее лицо сложили из костного крошева, все под кожей простелено металлической сеткой, но заметить ничего нельзя – действительно виртуозная работа.

Солнце садится за горным хребтом напротив. Еще жарко, но на нашей вершине веет ветерок. Люди расходятся по машинам, припаркованным на нижнем витке дороги-спирали. Мы сидим на широких деревянных лавках под навесом, где проходила панихида. Стефани раскрывает сумку и дает мне на память о Маргарет старинную шелковую салфетку; она выцветшего бирюзового цвета с кружевами, сплетенными из кремовой шелковой тесьмы. В нее что-то завернуто. Открываю сверток – в нем почерневший от времени резной ключ. От чего он?

Миллион на подарки

С Кристиной Дорман я познакомилась тоже в Лексингтоне, в парикмахерской. Моя парикмахер Диана в этот день выполняла роль бебиситтера. Она была знакомой Кристининой бабушки, а родные девочки куда-то срочно уехали, и вот она проводила день в тесном, заставленном безделушками и красивыми коробочками салоне «тети Дианы». Кристина была крупная черноволосая и темноглазая. Нос курносый, на руках, несмотря на лето – цыпки. Она сидела и рисовала мелками море, посередине желтел песчаный остров с пальмами, а над пальмами повисло оранжевое солнце. Вокруг нее накопилось уже много таких картинок, и, видно, она соскучилась и решила со мной поговорить.

– У нас у всех день рожденья в декабре, – сообщила она. – У меня, у мамы, у дедушки, у маминой сестры, у ее маленькой дочки и у маминой новой дочки – моей сестренки. Только у бабушки Кэтлин – в августе, когда учебный год начинается. Мама меня родила в 15 лет, еще в школе, а дедушка Руди и бабушка Кэтлин сразу сказали, что будут меня воспитывать сами. Мама, наверное, только обрадовалась, потому что хоть она живет недалеко, в фургоне, со своим бой-френдом и моей сестричкой Рейчел, видимся мы редко. Иногда она приглашает дедушку смотреть футбол по телевизору и он прихватывает меня – туда на машине ехать ближе чем до школы. Бывает, мама берет меня на выходные. Тогда я целый день сижу одна на диване и смотрю телевизор.

– А друзья у тебя есть? – спросила ее я.

– Дедушка Руди – мой главный друг. Он на меня, может, и ругается, если я очень пристаю, но он со мной делает уроки, напускает мне вечером ванну, ездит в цирк. И еще он дома все делает. Вообще он, по-моему, чинит какие-то насосы, приезжает с работы вечером и сразу начинает готовить обед.

– Готовит вкусно?

– Ой, так вкусно, как, по-моему, только в ресторанах, и то не во всех! Мы иногда ездим в мексиканский или в китайский, так вот у деда лучше получается. Особенно я люблю такую еду, он называет ее мусака. Это все овощи на свете вперемешку с мясным фаршем, запеченные с сыром. Дед говорит, что мусаку придумали в Греции – такая маленькая страна очень далеко от нас.

У дедушки выходные не как обычно, а в понедельник и вторник, так он в эти дни всегда дом убирает, стирает, разбирает гараж. Я его иногда зову папа, потому что своего настоящего папу я никогда не видела. Он должен был платить дедушке и бабушке

за меня деньги, но не стал, и теперь со мной видеться не может. Поэтому моя мечта, когда я вырасту, обязательно заработать миллион долларов. На всякий случай – вдруг у меня тоже какая-нибудь история с ребенком приключится.

– Сама мама к вам приезжает?

– Иногда приезжает, с Рейчел или и с ее папой Джоном. Только обычно ничего хорошего из этих приездов не получается. Мама начинает ссориться со своей младшей сестрой Уитни – у нее только что родился ребеночек – тоже девочка, Ханна, или Джон начинает ссориться с Майклом, папой Ханны: они живут сейчас с нами. А поссорившись, они могут и подраться, и, если бабушка Кэтлин дома, она к ним присоединяется. А мы с дедушкой смотрим. Иногда меня отводят в соседнюю комнату с Ханной, но мне все равно все слышно. Почему они дерутся, я так ни разу и не поняла. Поэтому я Санте вот уже какой год пишу пожелание: пусть бы он сделал так, чтобы у меня в семье все любили друг друга или хотя бы никто не ссорился и не дрался. Но пока он ничего не может с ними поделать.

– А ты в каком классе?

– В четвертом – я там самая высокая. В школу ходить я люблю, хотя дедушку иногда вызывают поговорить с учительницей – это потому что я тоже люблю поговорить – на уроках. Еще люблю, когда мне читают книжки, но обычно у дедушки нет времени, а сама я читаю по сравнению с ним не так быстро, и мне становится скучно.

– У тебя есть кошка или собака?

– Кот есть и три собаки: самая большая и черная, мистер Бентли – сидит на цепи во дворе. Дедушка спускает его побегать в свои выходные. Один пес поменьше, тоже черный, Вилли, и еще маленькая белая собачка Лаки. Ее дедушка любит больше всех, она спит у него в ногах, и он говорит, что это пудель. Я всегда забываю, что Лаки старая – она веселая и подпрыгивает, чтобы лизнуть меня в лицо. И вот, хоть у нас столько собак, я все равно мечтаю, чтобы когда-нибудь у меня была бы моя собственная.

– С девочками в школе играешь?

– Ну, настоящих подружек, чтобы с ними хотелось долго болтать, у меня нет. В школе каждый год и учительницы, и дети меняются, а живем мы совсем одни на дороге – только наш дом и есть: в одну сторону лес, в другую – лес, а позади горы. Горы у нас как будто голубого цвета – особенно ближе к вечеру, когда меня привозит домой школьный автобус. И я теперь знаю – почему. Мы в школе рисовали желтый цветок с зелеными листьями, так у меня желтый карандаш заехал на зеленый лист – и получился синий цвет. Вот я и думаю: на горах растут деревья с

зелеными листьями, и когда на них солнышко светит – они синеют. Но я все-таки больше люблю море, или хотя бы океан.

– А ты на море была или хотя бы на океане?

– В прошлом году мы с дедушкой ездили к его другу во Флориду. У него большущая лодка, называется «Манго». Она старая, и на ней никто никуда давно не плавает. Там два этажа: повыше воды и прямо на воде. Внизу, как бы в нашем бейсменте, где у нас стоят стиральная машина и сушилка, две крошечные каюты и кухня. В одной спал дедушкин друг Эндрю, в другой мы. Дед страшно храпит, но мне все равно – лишь бы успеть первой заснуть. В каюте были две койки – одна над другой. Я спала на верхней – бабушка бы ни за что не разрешила, а с дедом все можно. Ну или почти все. Он весной, например, когда рыхлил землю под деревьями, разрешил нам с Рейчел в грязи копаться: мы строили из нее крепость, и даже нам помогал – укреплял крепость камнями.

– Как твой день проходил во Флориде?

– Утром мы шли купаться: дед очень толстый, но плавает хорошо. Он говорит, что его пузо не дает ему утонуть, как спасательный круг, надутый воздухом. Вода в океане была мутная, бело-зеленая, и такая теплая, как дома в ванной. И ветер дул тоже жаркий. После ланча дедушка помогал Эндрю с лодкой: они что-то разбирали, а я выносила мешки с мусором; или в моторе копошились и потом были по локти вымазаны в копоти. Тогда моя помощь была не нужна и я, как обычно, смотрела мультики по телевизору или слонялась по пляжу.

А иногда они ходили рыбу ловить на пирс. Мне тоже предлагали, только мне показалось не интересно: сидишь, ждешь по часу, пока сепелявка какая-нибудь на удочку поймается. Жара, хотя они ходили ловить ближе к вечеру и на море часто ветерок дует. Они червей на крючки нанизывали, червяки тоже довольно-таки противные. Но главное, рыбу эту жалко с крючка снимать. Весь рот ей раздерешь, пока снимешь – потом и есть ее не особо вкусно. Хотя дед их так жарил, эту мелюзгу, что кости куда-то девались, будто их и не было.

– Что тебе на лодке больше всего понравилось?

– Понравилось, что и туалет, как у нас дома, и душ тоже был. Хотя мы больше принимали душ прямо на пляже – чтобы лишнюю воду на лодке не расходовать. А один раз у нас был самый-настоящий шторм. Вода так билась об дно, как раз у наших кают, что грохот стоял – не заснешь. А я лежала и вспоминала, как в школе нам мисс Маккензи читала историю про одного дядьку, который попал в брюхо к киту и прожил там много лет, познакомился с другими, кто там очутился еще раньше. Я тоже

представляла, что я в животе у огромной рыбины и она ныряет вниз и вверх – потому нас и мотает туда-сюда. А наутро океан был такой тихий, что во вчерашнее даже не верилось.

Еще на океане чайки кричат, как кошки. Или как маленькая Ханна, когда хочет есть. У них белое тело и серые крылья – и мне все казалось, что они одеты в белые футболки с длинными серыми рукавами. Они очень пугливые: только захочешь поближе одну разглядеть, как она раз – и улетает со своим кошачьим криком.

– Это ты пальмы во Флориде видела?

– Ой, да. Там одни пальмы вокруг! У нас в Виргинии столько разных деревьев, и листьев на них полно. Осенью, когда они опадают, дедушка сгребает их в огромные кучи – как зимой снег. И мы с Вилли и Лаки, если у нее есть настроение, прыгаем в этих кучах, как сумасшедшие. Они лают, а я кричу какую-нибудь ерунду. Потом мы всей семьей выходим листья собирать и распихивать по пластиковым мешкам. На следующий день приезжает большущий грузовик и мешки наши забирает.

А во Флориде утром, когда смотришь на пальмовые листья, глаза слепит – так солнышко от них отсвечивает. И если ветер, то кажется, листья покрыты полосками целлофана, в который дедушка пакует мой сэндвич для ланча, и эти полоски трепещут на ветру.

– Что же ты там вечерами делала?

– Вечером я любила, когда все затихает. Чайки спят. А где они, интересно, спят? Наверное, прямо на воде – я однажды утром видела огромную стаю, как она качалась на волнах. По вечерам я лежала на диване в центральной комнатке на первом этаже и слушала, как другие яхты и лодки между собой тихо переговаривались. И вдруг послышалась негромкая музыка. Мне казалось, что кто-то играет на трубе или на саксе, кто-то тихо бьет в барабан, а вот флейта. Дедушка на флейте играет, только у него времени нет. Но как-то раз я слышала. А тут прямо оркестр. Точно разобрать, что играли, было трудно, но музыка у них получалась. Я, когда подрасту, начну ходить в хор – я очень люблю петь. А играть на чем-то с закрытым или даже открытым ртом, как на трубе, к примеру, мне, если честно, не очень нравится.

– На вашей лодке парус был?

– У нас не было, а на многих других были: скатанный в рулон парус внизу высоченной мачты. И вот эти мачты пересвистывались даже на самом маленьком ветру. Или просто покачивались и скрипели. И наша лодка, хоть мне сказали, она из металла сделана, поскрипывала, особенно, когда вода об нее

билась. Несколько раз я просыпалась среди ночи, может, и не среди ночи, но до того, как дед и Эндрю укладывались, но мне их слышно не было. Они иногда тихо допоздна играли в карты на верхнем этаже. А вот я играла в такую игру: пыталась представить, что я тут совсем одна. Но у меня никак не получалось это представить. Потому что отовсюду раздавались разные шорохи и вздохи, вода плескалась за бортом – только все это было не страшное. И тут я поняла, что просто лодка живая и ты с ней всегда вместе, всегда не один.

– Вы там куда-нибудь ездили или только купаться ходили?

– В парк ходили, недалеко от лодки, думали – просто обыкновенный парк. Но он оказался суперский: там было полно птиц – лебедей, пеликанов, голубей таких красивых: голубоватых, розоватых и светло-коричневых, с ошейничками из более темных перьев. Это дедушка сказал, что они голуби, я бы таких не признала, у нас тут совсем другие, серо-синие. И животные там были – один кенгуру, грустный такой: стоял все время к нам спиной, а нос спрятал за какую-то дощечку – и еще выдры. У них тоже родились малыши недавно, как у моей тети Уитни. И они то сосали у мамы молоко, то начинали карабкаться на нее и кататься вниз, как с горки. И все время что-то урчали. А одна взрослая выдра легла на спину, зажала в передних лапах кусок еды и стала его не торопясь есть. И когда она так улеглась, я заметила, что у нее пальцы на руках и на ногах совсем как у людей.

– Где же они там жили, что ты их так хорошо разглядела?

– В озерце жили, а на берегу лежали камни с небольшой пещеркой на возвышении – так, чтобы нам было лучше их видно. Они совсем людей не боялись, а я прямо нос совала к их пещерке, хоть они и были отгорожены тонкой прозрачной стенкой. Дедушка сказал, что они обычно привязчивые, как собаки, и в некоторых странах их водят на поводке и охотятся с ними на рыбу. Прямо чудно́! Да, и еще что круто: детеныши зреют в животе у выдры-мамы всего два месяца, а потом мама может держать их в этом животе хоть целый год! Пока не найдет местечка подходящего для жизни. И они, видно, тихо там сидят, ее не беспокоят. Вот маленькая Ханна, пока не родилась, очень нервничала, я прямо видела, как у тети Уитни живот ходил ходуном из стороны в сторону. И она мне говорила: смотри, малышка локоть выставила или, там, коленку. А я всякий раз думала: неужели она, когда подрастет, будет такая же драчунья, как другие у нас в семье? Что же мне делать? И как сдачи дашь – она же младше? Хотя тетя Уитни тоже младше мамы, а дерется – ой-ой-ой…

– А ты кем хотела бы стать, когда вырастешь?

– Еще не знаю. Зато знаю, кем бы НЕ хотела. Медсестрой, как бабушка Кетлин, не хочу, кассиршей в супермаркете, как тетя Уитни – совсем не хочу. Целыми днями дома сидеть, как мама, по-моему, скучно. Мама вообще никогда не работала – дедушка говорит, что она всегда была ленивая. Вот на нее Джон и ругается за каждый доллар. Она же у него должна просить. Поэтому тоже, я думаю, миллион бы мне не помешал: все-таки сам решаешь – на что его потратить.

– И на что бы ты потратила?

– Первым делом купила бы подарки: дедушке – корову. Он о корове мечтает, но пока у него времени нет. А когда я вырасту и у меня будет миллион, он как раз уйдет на пенсию, да и со мной уже дел не будет. А бабушке я бы иногда покупала билеты в Ирландию – у нее там братьев и сестер чуть не десять человек, да у всех есть дети и внуки. Я их никогда не видела, а она любит к ним ездить, но билеты стоят дорого – она при мне ездила всего пару раз, и то, когда что-то неприятное с кем-нибудь из семьи случалось. Бабушка говорит, что, когда она была маленькая, ее мама – моя прабабушка, готовила на всю ораву еду, и что самое интересное – ухитрялась каждому приготовить, что тот любил.

Рейчел и Ханне я бы купила новых игрушек, если они им еще пригодятся, конечно. Трудно ведь рассчитать, сколько мне лет понадобится, чтобы этот миллион заработать. Вот дедушка в лотерею играет – он говорит, тогда можно сразу, только пока ему не везет.

– А себе бы что купила?

– Вот это я пока не придумала. Может, лодку, как у дяди Эндрю, только новую. Там рядом с нашей стояли такие – высокие, с большими окнами и красивой деревянной палубой. Сяду как-нибудь на нее, подниму якорь – и уплыву одна в океан!